



Свечка

Валерий Залотуха



национальная литературная премия
«БОЛЬШАЯ КНИГА»

лауреат
2015

1]

Валерий Александрович Залотуха
Свечка. Том 1
Серия «Самое время!»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8685982
Свечка. Том 1: Время; Москва; 2016
ISBN 978-5-9691-1415-9

Аннотация

Герой романа «Свечка» Евгений Золоторотов – ветеринарный врач, московский интеллигент, прекрасный сын, муж и отец – однажды случайно зашел в храм, в котором венчался Пушкин. И поставил свечку. Просто так. И полетела его жизнь кувырком, да столь стремительно и жестоко, будто кто пальцем ткнул: а ну-ка испытаем вот этого, глянем, чего стоят он и его ценности. В 2015 году роман стал лауреатом премии «Большая книга», получив вторую премию.

Содержание

Часть первая	5
Первый и первая	5
Второй	28
Второй (продолжение)	101
Второй (продолжение-2)	105
Конец ознакомительного фрагмента.	124

Валерий Залотуха

Свечка. Том 1

***Роман в четырех частях с
приложениями и эпилогом***

Памяти мамы

Был человек в земле Уц.

Книга Иова

Слаб и робок человек,

слеп умом – и всё тревожит.

А. С. Пушкин

© Валерий Залотуха, наследники, 2016

© Валерий Калныныш, оформление, 2016

© «Время», 2016

Часть первая

Три дня и три ночи, или За други своя

Первый и первая

...нет, приятно, что и говорить, чертовски приятно, просто большое удовольствие получаешь, когда сидишь перед телевизором с банкой чая или с чашкой... ну да, с чашкой чая или с банкой пива, с длинненькой такой прохладной баночкой «Holsten» – вечерком в кресле, а ноги в тапочках на табуурете пристроены, и ты уже не сидишь, а лежишь – съехал, так, что даже и не очень удобно, но ты не шевелишься, ты *неколебим*, – потому что тебе хорошо, потому что ты смотришь, как его берут. КАК ЕГО БЕРУТ! Омоновцы, крепкие такие парни в камуфляже, бронезилетах и черных масках с коротенькими такими автоматами... Вот «мерс» по улице мчится, кажется, никто не может его остановить, но вдруг «жигуль» из соседнего ряда подрезает и к обочине – стоп! А второй «жигуль» сзади блокирует и оттуда, как горох, как черти из бочки, омоновцы – шах! Автомат в окно, дверца нараспашку, за шкирку его из салона, «руки на капот!» – мат! Несколько секунд сюжет всего длится, а сколь-

ко удовольствия получаешь! Там уже другой сюжет, что-нибудь про культуру, про театр например, а мысль твоя – назад, вдогонку прежнему, мысль правильная, тягучая, приятная: еще одного взяли... сколько веревочке ни виться... так ему, голубчику, и надо... нет, все-таки милиция иногда мышей ловит... молодец Лужков – Москву отстроил, может, и порядок наведет... И хотя последняя, замыкающая, так сказать, часть этой во всех отношениях приятной мысли одна и та же, и она фактически отрицает *самой* мысль, попросту ее зачеркивает: все равно отпустят, хоть он там и сто человек убил – отпустят, за деньги отпустят, за миллион, допустим, долларов отпустят, кто же устоит перед миллионом долларов, – ты отмухиваешься, то есть, ха-ха, отмахиваешься от подобного завершения мысли, как от мухи, от назойливой мухи... цеце, потому что удовольствие от того телесюжета получаешь несомненное, и удовольствие оказывается выше правды. Удовольствие выше правды – забавная постановка вопроса, не правда ли? И если бы не болело горло – фарингит, – всё бы ничего, бывают болезни и пострашней, но нередко дело заканчивается ангиной с температурой под сорок – фаринго-септ! – так вот, если бы не болело горло, я бы с удовольствием поделился своим открытием со всеми вами, милостивые государи и милостивые государыни... Удовольствие выше правды, не правда ли? Да-да-да! **УДОВОЛЬСТВИЕ ВЫШЕ ПРАВДЫ!**

Я слышу свой голос, но не сразу понимаю, что он мой –

высокий, жалкий. Жалкий, вот именно – жалкий... Я понимаю, что то был сон, бред, сонный бред, а теперь начинается явь...

И мне ее почему-то не хочется...

Глаза сами открываются, и я вижу сидящего рядом незнакомого парня. Он улыбается. Один глаз у него черный, заплывший, *подбитый*, зато другой – блестящий, живой, дружелюбный.

– Ну вы даете! Вы сейчас такое говорили, – сообщает парень.

Получается, что он подслушивал, и это меня раздражает:
– Какое? Что я говорил?

Парень чешет в затылке, смущенно пожимает плечами и уходит от ответа:

– Да так...

«Да так...»

Я молчу.

И он молчит, и я начинаю сознавать, что обидел его, не сильно, но обидел.

Парень смотрит на свои наручные часы и сообщает время.
– Четыре... – и снова улыбается.

А он и не обиделся нисколько...

Сколько-сколько? Четыре? Самое страшное, самое ненавистное мое время – четыре...

А где Гера? Где Женька, где Алиска? Где Даша?

Да, где моя Даша?

Я задаю себе эти вопросы, как будто не знаю, где все они.
Они – у себя дома, в своих кроватках.

(Впрочем, Гера, возможно, и в чужой.)

Спят.

А вот где ты, Золоторотов, где ты?

Где я?

Я лежу на голом деревянном полу в берете, куртке, ботинках, и у меня затекли ноги и болит спина...

И горло, главное горло...

Фарингосепт!

Я в КПЗ.

Чёрт! Чёрт побери, да ведь это меня вчера брали! Омоновцы в масках... Меня! На Ленинском, около железного истукана. Один «жигуль» подрезал и заставил остановиться, хорошо, что скорость была небольшая, а то я, водила аховый, точно в него бы въехал... А второй, красный, грязный весь, блокировал сзади. И – началось! Страх не было, нет, страха совсем не было. И первая мысль: «Гера!» Это они его берут! Машина его, документы его...

Чёрт...

Чёрт бы драл этого Геру с его бизнесом.

РУССКИЙ БИЗНЕС:

Я покупаю вагон сахара.

А я продаю.

И один бежит искать деньги, а другой бежит искать сахар. Русский бизнес – бессмысленный и беспощадный. Но я

сразу решил молчать! Не колоться! Прикинуться валенком! Шлангом! А Гера не дурак, ох, Гера не дурак, он скоро почувет неладное, вот именно – *почует* и рванет куда-нибудь подальше – в Харьков к тетушке или в Америку к дядюшке... То есть не к дядюшке, конечно, а к родственникам, в Америку, туда, где его никто уже не достанет. Отсидится там, пока здесь все утрясется, *уконтрапунтится*... Не может же быть, чтобы у Геры было что-то серьезное, этого не может быть, потому что не может быть никогда, а раз так, то, значит, утрясется, у нас со временем все утрясается. А я пока буду молчать! И, может быть, даже поведу их по ложному следу, чтобы потянуть время, *поелику* это будет возможно – день, два, три... Как говорится, «за други своя». Откуда это? Не важно – откуда, важно – за кого! «Слово о полку Игореве»? Может, и оно. День, два, три... Да, поелику это будет возможно, а потом скажу:

– Извините, но вы ошиблись!

Или:

– К моему глубокому сожалению – вы ошиблись!

А еще лучше:

– Мне очень жаль, но вы ошиблись!

Представляю, как вытянутся их физиономии... «Руки на капот! Ноги шире!» (Неприятно, я вам доложу.)

А если бы там был Гера?

Он ведь без пистолета из дома не выходит.

Ты, Герка, всегда был везунчик.

И я, конечно, буду молчать, пока ты, скотина, не смоешься, как ты говоришь, «из Рашки»...

Буду молчать!

А они и правда шустрые ребята, эти омоновцы... Не такие, конечно, как в телерепортажах: когда меня брали, один другого нечаянно автоматом в бок ткнул, и тот ойкнул и ругнулся – смех... (Накладочка вышла.) Но все равно, шустрые они ребята, и брали меня лихо. Непонятно, правда, – брали, можно сказать, в торжественной обстановке, а засунули в банальный милицейский «обезьянник». Нет, это хорошо, что простое отделение милиции, для Геры хорошо – значит, ничего серьезного. (Но будет, будет что тебе рассказать!)

Кроме меня и этого паренька, которому очень хочется со мной разговаривать, лежит посредине дурно пахнущий бомж.

Лежит и храпит!

А в дальнем темном углу сидят на корточках двое... Как грифы из американских мультиков. Уголовные рожи. Последний раз со мной случилось подобное двадцать лет назад... Когда меня посадят в КПЗ в третий раз, мне будет уже за шестьдесят, и я скажу: «А что? Жизнь прожита не зря». Иные за всю жизнь в КПЗ ни разу не побывали, не знают, небось, даже, как эта аббревиатура расшифровывается. КПЗ...¹ А ничего за эти двадцать лет не изменилось. Тот же «обезьянник», те же стальные прутья решетки. Вот

¹ Камера предварительного заключения. – *Примеч. автора.*

только бомжей тогда, кажется, не было. Точно – не было! То есть они были, конечно, где-то были, но термина такого тогда не существовало: БОМЖ. «Когда мы были молодые»... В те достопамятные времена наше социалистическое общество дружно боролось с пьянством, а мы лежали на траве в скверике напротив китайского посольства и пили портвейн. Портвейн мы любили и называли его ласково: портвешок, портвуша. Нас было четверо: Гера, Федька Смертнев, Мустафа и я. Дружинники нас и накрыли! Между прочим – студенты МГУ, сволочи... Гера, кажется, учился уже в МГУ, на филфаке, кажется. (Да где он только не учился!) И еще был мент; дружинники и с ними – мент. Нет, ментов тогда тоже не было, то есть они так тогда не назывались. А как? Мильтоны? Легавые? Не помню...

Все убежали, а я остался – замешкался... Даже Мустафа убежал, хотя это ему ничем не грозило, его исключить не могли, он был иностранец, негр. Сенегалец. Матерый такой негритос, блестел, как хорошо начищенный хромовый сапог. «Взяли меня за белые руки», – рассказывал он о своем очередном приключении, и мы покатывались со смеху. А когда напивался – плакал и жаловался: «Ох, обрусел я, обрусел!» – умереть можно было. Несколько лет назад кто-то из наших сказал мне, что Мустафа умер в своем Сенегале то ли от тоски по России, то ли от цирроза печени... Мустафа милиции не боялся и убежал, а я боялся и остался. А за это выгоняли из академии автоматом. Автоматом в бок... Гера спас. Пе-

респал с секретаршей декана, причем не просто переспал, а сначала разыграл любовь... Жанна Борисовна – как сейчас помню... Старая и страшная... Впрочем, не такая уж и старая, помоложе нас теперешних... Но тогда она казалась старой. (Да и не такая уж страшная! Она мне даже нравилась...) Жанна вытащила милицейскую «телегу» из почты декана и отдала Гере, и мы торжественно сожгли ее и пепел залили портвейном. Там такое было написано – меня бы точно отчислили. Ну что ж, старик, долг платежом красен? Теперь я буду тебя выручать. («Однажды двадцать лет спустя». Кино такое было. Плохое? Да, плохое.)

– Ну ты, морда, кончай храпеть! – Мент. Сонный и злой. – Ну ты, морда! – И стучит резиновой дубинкой по прутьям решетки. А это, оказывается, не прутья, а трубы – они гулко отзываются своей внутренней пустотой. А бомж как храпел, так и храпит. Мент смотрит на меня, потом переводит взгляд на сидящего рядом парня, и приказывает:

– Толкни его.

Парень медлит, смотрит на бомжа, на мента и вдруг говорит – напряженно и глухо, в общем-то не скрывая своей неприязни к этому *представителю власти*:

– За отдельную плату. – И отворачивается к стене, всем своим видом показывая, что разговор окончен.

Мент просыпается окончательно, буравит затылок парня маленькими злыми глазками и стучит по трубе громче: бух! бух! бух! а она отзывается гулко и протяжно: у-ух...

у-ух... у-ух... Вот вам и «ноктюрн на флейте»... водопроводных труб... в исполнении злого сонного мента. (Когда-то я любил Маяковского. Интересно, люблю ли я его сейчас? Надо бы перечитать.) А мент опять на меня смотрит... Но ничего не говорит. Нет, я, конечно, могу разбудить этого несчастного вонючего бомжа, но... Не будет ли это своего рода штрейкбрехерством? Ситуация разрешается неожиданно быстро, так быстро, что я не успеваю сразу все понять и оценить: один из «грифов» вдруг вскакивает, пружинисто, по-спортивному (он, кстати, в спортивном костюме), и коротко и очень сильно бьет бомжа ногой в бок. У того что-то екает внутри, я отчетливо это слышу. Селезенка? Бомж вскрикивает, садится, трет грязной ладонью бок и обводит всех полным боли и страдания взглядом. А глаза у него маленькие, красные.

– Кончай храпеть, морда! – Это опять мент. У них, наверное, любимое слово – морда. Меня ведь тоже вчера назвали мордой... Когда усадили в красные «Жигули» – сзади, а по бокам сели двое с автоматами. Первый шок (а это был именно шок), – первый шок прошел, и я уже отчетливо понимал, что они меня с Герой спутали, и здесь у меня вырвалось, клянусь, это не было трусостью или приступом малодушия, да я и не собирался говорить, что я – ты, я просто высказал вслух предположение, просто так высказал:

– Может, вы меня с кем-то спутали?

Мы ехали мимо «Баррикадной» (машину покачивало на

брусчатке, я это отчетливо помню), и вдруг тот, кто сидел впереди рядом с водителем, заорал:

– Молчать, морда!

Вообще, все они были чем-то раздражены. Складывалось впечатление, что я (то есть ты) им, в общем, не так уж и нужен... И даже совсем не нужен.

НАС НЕ ПРИНИМАЛИ!

Это, знаешь, как бывает: заберет «скорая» больного и начинает его возить из больницы в больницу, а там или мест нет, или карантин, или просто принимать не хотят. Мы останавливались у двух или трех отделений милиции, и тот, кто меня мордой назвал, – уходил раздраженный и еще более раздраженный возвращался. Не принимали. Смешно и грустно, грустно и смешно...

Но...

Часы.

Мои часы!

Они у этого противного мента на руке, я их вижу!

Я цапаю себя за запястье – пусто, – мои, точно мои! Но как, как они к нему попали? Ах ну да, я же забыл, совсем забыл, их сняли, когда обыскивали, когда все забрали – документы Герины и деньги, мои... Впрочем, какие там деньги, а вот ножичек, любимый швейцарский «Victorinox», который мне Даша подарила, где он? Был и нету, пропал, исчез, мистика какая-то, с ним всегда какая-то мистика происходит, с моим ножичком, сколько раз я его терял, столько же нахо-

дил.

А мент уходит... Уходит, уходит, уходит. «Врешь – не

уйдешь!» – кажется, так Чапаев кричал? И я кричу ему
вслед – насмешливо и дерзко:

– Скажите, пожалуйста, который сейчас час?

Он останавливается, оборачивается и смотрит... Как бы недоумевая... Пухлый, лупоглазый, губки бантиком. На него без улыбки смотреть невозможно, и я с трудом сдерживаюсь. А он выдерживает многозначительную паузу, смотрит на МОИ часы и твердым голосом сообщает время:

– Четыре. Ровно.

Четыре! Опять четыре!

– Есть еще вопросы? – спрашивает он, чтобы оставить за собой последнее слово. Я только пожимаю плечами – его ответ мгновенно выбивает меня из колеи. Мент усмехается, поворачивается и уходит. И тут меня осеняет, и я кричу ему
вслед:

– Отличные у вас часы!

И он – смущается на ходу, явно смущается, и я провожаю его взглядом... А это хорошо, если человек еще не научился смущаться. (Тем более, если этот человек – мент.) И он, конечно, прекрасно понял, что я не позволю ему прикарманить мои часики! Беспардонная все-таки наглость...

Паренек с подбитым глазом трогает меня за локоть и говорит громким шепотом:

– Вы с ними поосторожней.

Я не понимаю – в каком смысле?

– В каком смысле?

– Они вежливость любят. – Паренек говорит это так серьезно, что я невольно улыбаюсь.

Мало ли что они любят.

«В самом деле, мало ли что они любят!» – думаю я и повторяю:

– Мало ли что они любят.

Паренек молчит.

Славный... Как он здесь оказался? Подрался с кем-нибудь? Честь защищал? Ну это вряд ли... Честь в наше время не в чести, извиняюсь за каламбурчик, как Гера говорит.

– А вас за что посадили? – спрашивает он, и я смотрю на него, улыбаясь, не зная, что ответить. Как там у Анатолия Жигулина? «Ни за что!» Хотя вряд ли он знает Анатолия Жигулина. И откуда он взял, что меня посадили?

– Откуда вы взяли, что меня посадили?

Паренек пожимает плечами и растерянно улыбается.

– Вы же сидите...

– Ну во-первых, я не сижу, а практически лежу, полулежу, как Стенька Разин на челне, а во-вторых, меня не посадили, а взяли, всего-навсего взяли, да и не меня, кстати, а...

– А я милиционера избил, – сообщает вдруг паренек. Он делает это, как пионер на торжественной линейке: выпрямляется, расправляет плечи, и глаза при этом радостно све-

тятся.

До меня не сразу доходит смысл услышанного.

– Что?!

– Милиционера избил, – повторяет паренек и улыбается.

Я молчу, потому что не знаю, что сказать, а он расценивает мое молчание то ли как поощрение его безрассудного поступка, то ли как желание знать подробности. Он чешет свой вихрастый затылок и, смущенно улыбаясь, начинает их выдавать:

– Да все из-за Настьки... Это сестренка моя младшая. У нас еще старшая есть – Галька, а Настька – младшая, ей семнадцать четырнадцатого мая исполнилось. Мы вчера на концерт с ней пошли, на Анастасию, я Анастасию уважаю – душевно поет, и без фонограммы. А там давка была, народа полно, сзади давят... И нас с Настюхой – прямо на сержанта этого... Ну мы же не виноваты, правильно? А он на Настюшку: «Куда прешь, дура!» А она, между прочим, в школе отличница была. Заплакала... Я ему: «Извинись!», а он: «Щас. Много вас таких». Ну, я ка-ак дал ему! Вырубил сразу... Нос сломал... Я ему нос сломал. – Паренек замолкает наконец и смотрит на меня, ждет, что я ему скажу. А что я могу ему сказать? Юридически я совершенно безграмотен, но откуда-то знаю, что за драку с милиционером срок дают автоматом, и срок немаленький. Что я могу ему сказать?

– Пятак мне светит, – сообщает он убежденно и спокойно.

– Что?

– Пять лет мне дадут.

– Пять?!

– Ага, пять. Они мне сразу сказали: «Пять лет тебе гарантированы».

– Как тебя зовут?

– Толик.

Толик... Улыбается. Совсем еще ребенок. А впереди – пять лет тюрьмы. За что? Я спрашиваю – за что?! Только за то, что вступился за честь своей сестры? А ты говоришь – честь нынче не в чести. В чести! Только не у всех и уж, во всяком случае, не у государства этого! Все эти Мавроди, «Хопры», все эти жулики, награвившие у простых людей миллиарды, гуляют на свободе (и как гуляют!), а за ними, через прессу и телевидение вся страна наблюдает! Как в щелочку... Зырит, как Гера говорит... Пуская слюни, замирая от восторга и зависти! А этот мальчик... Убийцы, киллеры, бандиты разъезжают на джипах! Киллеры – главные герои литературы и кино, их все любят, ими все восхищаются, а этот паренек, в сущности ребенок, глупый, как все дети, глупый и искренний... Честь своей сестры защищал...

– Может, еще обойдется, – бормочу я, не глядя ему в глаза.

А он улыбается, бравирует – мальчишка.

– Я тюрьмы не боюсь, только родителей жалко.

– Еще бы ты ее боялся, что ты знаешь о тюрьме?

– Мне сейчас двадцать один! – говорит он с азартом.

Я так примерно и думал.

– Двадцать один, так?

Я киваю.

– Через пять лет мне будет двадцать шесть, так?

Я снова киваю.

– Не старик ведь еще, правильно?

Я улыбаюсь. Да уж, действительно, не старик.

– У меня друг был, четыре года отсидел... Так он на зоне техникум закончил, представляете?

– Представляю.

– А я за пять лет институт там закончу!

Дурачок ты...

– Какой институт? – спрашиваю я как можно более серьезно.

– Я еще не придумал, – тут он немного смущается.

Не придумал – придумаешь... Я хлопаю его по плечу и говорю:

– Ничего, может, еще обойдется, – хотя, глядя на него, понимаю, что не обойдется, у таких, как он, не обходится. – Знаешь что, – говорю я, – ты лучше побольше читай книжек. Прочитать книжку – это поступок, а прочитать хорошую книгу – хороший поступок. А каждый хороший поступок делает мир лучше. Немного, но лучше...

– Вы это во сне говорили, – смущенно улыбаясь, сообщает паренек.

– Повторяюсь, значит... – Я еще больше смутился.

– Да меня сеструха старшая, Галька, замучила в детстве этими книжками: «Читай, читай!» Училкой в школе работает. Ну, я назло не читал, самостоятельность свою отстаивал. А потом некогда было... Посадят – буду читать...

– Ну да, там времени много...

– Родителей жалко, а так я тюрьмы не боюсь, – в который раз повторяет он, – я другого боюсь. Они меня вчера бить не стали, не захотели себе праздник портить.

– Праздник? Какой праздник?

– День милиции! Вчера же день милиции был, десятое ноября...

В самом деле, есть такой праздник. Десятое ноября... 1997 года... День, когда меня взяли... Надо будет запомнить. Я задумываюсь о чем-то своем, и до меня не сразу доходит смысл услышанного.

– «Мы тебе яйца отобьем!»

Я не понимаю.

– Кому?

– Мне, кому же еще, – втолковывает паренек, но я все равно не понимаю.

– Зачем?

– «Чтоб не женился никогда!» И смеются... А я знаю, как это делается, в Чечне видел. Пристегнут руки в наручниках повыше, чтоб согнуться не мог, и бьют там – ногами...

В Чечне? Врет или не врёт? После Афгана, помнится, все в афганцы записались.

– А я жениться хочу. На хорошей девушке. И чтобы трое детишек было, не меньше... У чеченцев детей много...

– Вы действительно были в Чечне?

– Ага. Я сразу туда просился, но меня не брали, у меня родители инвалиды по зрению. И брат Васька в Афгане погиб... Вроде как нельзя, но я все равно... Добровольцем... Да там уже не смотрели: родители не родители, брат не брат... Прямо из учебки в Чечню кинули... А там же день за два шел. Приказ министра обороны – и по домам...

– Ты где работаешь?

– На АЗЛК.

– Где-где?

– Завод Ленинского Комсомола, не знаете разве? «Москвичи» выпускает.

Удивляется.

– Да нет, знаю, конечно, просто я был уверен, что он совсем уже заглох.

– Не, не заглох. Работает. Правда, три дня в неделю только. И денег не платят. Мне все говорят: «Уходи», а я: «Нет, я на нем до армии работал». Мне охранником сколько раз предлагали, и бандиты подкатывались. Они нас, кто с «чехами» воевал, уважают: «Иди к нам: бабки, телки, все будет» Не-е... Я все равно верю...

– Чехи? При чем тут чехи?²

² Чехами наши солдаты во время войны в Чечне называли чеченцев. – *Примеч. авт.*

Он неожиданно замолкает и опускает глаза.

Брат в Афгане погиб, а ты в Чечню добровольцем пошел, родителей инвалидов не пожалел... Но во что же ты, интересно, веришь?

– Во что ты веришь?

– Ну как... – Паренек вскидывается и говорит убежденно: – Что Россия с колен поднимется.

Да-а... Да, старик! Услышать такое, в таком месте, от такого вот паренька – это, я скажу, дорогого стоит! Ради этого можно провести в КПЗ бессонную ночь. Он смотрит на меня в ожидании поддержки. «Россия с колен»... А может быть, он – сокол Жириновского или какой-нибудь баркашовец? Ждет... Я поднимаюсь и разминаю затекшие ноги.

– А вы верите?

Вот пристал... Не люблю я, не люблю подобный пафос: Россия, колени и прочее.

– Она на это просто обречена. – Где-то я слышал эти полные самодовольства слова и повторил их, чтобы не развивать скользкую тему.

– Ну вот. – Он удовлетворенно кивает, не замечая в моем голосе иронии.

Но что же это такое? Нет, я спрашиваю: что это такое?! Что же это за страна такая? И что за народ? (А парень этот, вне всякого сомнения, тот самый народ и есть!) Нет, если с приятелями за бутылочкой в теплой компании – на это все мы горазды – поговорить, подискутировать: поднимется Рос-

сия с коленей (или все-таки с колен) или нет, но здесь, в КПЗ, с подбитым глазом, когда «пятак светит»... Нет, надо ему помочь... Надо будет обязательно ему помочь! Он не должен садиться в тюрьму, и я просто обязан ему помочь.

– Как тебя зовут, я забыл, извини. Ничего, что я на ты?

– Ничего, конечно, я же моложе... Толик меня зовут.

Толик, да, Толик.

– А фамилия?

– Куставинов, а что?

Куставинов, Куставинов, Куставинов... Трудная для запоминания фамилия. Куст и вино... Нет, скорее – вина.

– Послушай, Анатолий... Завтра, то есть уже сегодня утром меня выпустят, потому что попал я сюда по ошибке, и я постараюсь тебе помочь. Ты только не отчаивайся и не теряй присутствия духа. И *не дерзи* им лишний раз. Я ничего не обещаю, но обязательно постараюсь тебе помочь!

Он смотрит на меня удивленно.

– А вы кто?

– Какая разница, кто я...

– А то я смотрю и не пойму...

– Что не поймешь?

– Вы какой-то не такой. Не такой, как все... И говорите так...

Мне становится смешно, и я улыбаюсь.

– Какой – не такой? – Может, он меня за какого-нибудь начальника принимает? – Я что, на начальника какого-ни-

будь похож?

– Нет, не похожи. Просто вы – другой... И вы такое во сне говорили...

Другой – не другой, говорил – не говорил: это все не важно, это совершенно не важно! А важно, что... Да что ж это за страна такая проклятущая! Вот он, этот мальчик, ее золотой фонд, ее будущее. А что, что она с ним делает?! Он безропотно отправился на несправедливую и бессмысленную войну – прикрывать своим мальчишеским телом разжиревших, вконец обнаглевших генералов. Повезло – не убили! «Повезло»... Да-а... Вернувшись с войны, идет работать на завод, – не в ларек, не в рэкетеры, куда все они сейчас идут, а на АЗЛК! За бесплатно, за так! Зарплату не платят, потому что начальство переводит рубли в доллары и прячет их за границей, а он – верит... Верит! Что... **РОССИЯ С КОЛЕН ПОДНИМЕТСЯ!** (Или с коленей?) А его за это – в тюрьму! И первым делом – отбить... Мы не рожаем, мы отбиваем. Отбить, все на свете отбить, а потом – в тюрьму! За то, что честь защищал! В тюрьму! А что такое наши тюрьмы, мы знаем! И про то, что в камере на десять человек сто сидит, и про то, что спят там в три смены, про то, что кормят, как скотину, про произвол администрации и беспредел уголовников – все это мы знаем! Ведь он погибнет там, этот искренний мальчик, погибнет...

– Мне вчера один мент сказал: «Дашь десять тысяч – отпустим», – сообщает он шепотом.

– Десять тысяч чего?

– Долларов. – Улыбается. – А я и сто в руках еще не держал.

Сволочи... Что же вы делаете, сволочи! Я попрошу у Геры, не попрошу – потребую! Для него десять тысяч – не деньги... А если даже и деньги? Здесь человек, живой молодой человек, полный сил, энергии, веры в будущее. Я скажу: «Гера, ты мне друг?» И он ответит: «Друг». Десять тысяч, сволочи! А он сидит, улыбается, думает... О чем, интересно? О чем, о чем – о России! Никак не меньше... А может, зря ты, парень, в нее веришь? Не потому, что она такая плохая, просто потому, что ее нет, давно уже нет. Потому что все происходящее вокруг – абсурд, и страна соответственно называется – Абсурдистан! А президентом ее должен быть... да тот же король абсурда Жириновский! Или любой из тех, кто лезет на трибуну Думы, чтобы покрасоваться перед телекамерами. Перед телекамерами... Так... Так! А ведь меня вчера снимали. МЕНЯ СНИМАЛИ! Так вот почему там было так светло! Я еще подумал, успел подумать: «Почему так светло?» Прямо напротив стоял микроавтобус, его боковая дверь была отодвинута, и оттуда, из широкого такого проема светила яркая белая лампа. Какой-то парень держал ее в руке. А другой держал на плече телекамеру. Телеоператор. Та-ак... Это уже интересно! Но как же я мог забыть? Неужели все-таки испугался? Но я бы помнил свой страх, страх – чувство запоминающееся, а я забыл... Но что же все это зна-

чит? Что же такое Герка сотворил, что его берут, как какого-нибудь Япончика? Гера, Гера... Правда, там, в Америке взяли именно Япончика, а здесь перепутали и взяли не тебя, а меня. Ну, что же ты хочешь – Абсурдистан! И вот, значит, почему мне приснился этот сон, точнее не сон – бред, сонный бред: как будто я сижу в кресле, ноги на табурете, и смотрю по телевизору, как его берут. А это не его, это меня берут! И это что же, меня теперь покажут по телевизору? Или уже показали? Любопытно – по какому каналу? «Московский»³ наверное, у них много подобной чепухи проходит. Удивительно провинциальный канал. Москва, как к ней ни относись, это все-таки Москва. Десять миллионов человек – целая европейская страна. А то и две... А смотришь московское телевидение и думаешь – какой унылый городишко, Урюпинск какой-то... Нет, это надо умудриться! А вот «Свободный» – наоборот. Там самое маленькое событие в том же Урюпинске вырастает до масштаба почти международного. И вроде такие же люди, и техника такая же. Удивительно! На «Свободном» передача называется... «Криминал», да... А на «Московском»? Не помню как, впрочем, это не важно... А что, если вчера уже показали? Видели ли мои? Алиска только «Свободный» смотрит, мечтает быть телеведущей, ее вообще политика интересуется, что редкость для девочки. Женька, конечно, висела на телефоне, она не любит

³ Названия телевизионных каналов по понятным причинам изменены. – *Примеч. авт.*

новости и всегда в это время висит на телефоне. А Алиска смотрела... «Мама, иди скорей, нашего папу берут!» Бр-р-р... Важно еще, какой комментарий. Фамилии они обычно не называют. «В интересах следствия». А вот за что взяли – говорят. Так что же, Герка, ты натворил? Не убил, не изнасиловал, не расчленил, это понятно. Налоги? Это может быть. «Если бы я их платил, то ходил бы сейчас без штанов». «Этому государству – ни копейки!» – Герман Штильмарк. «Не было в этой стране порядка и никогда не будет» – это тоже ты. «Россия – проигранная война» – звучит красиво, но я не согласен... Значит, все-таки налоги... Да, сейчас кампания какая-то по сбору налогов идет, чуть ли не ФСБ подключилось, я где-то читал... А тогда, кстати, когда я в КПЗ первый раз попал, тоже была кампания – по борьбе с пьянством. Так и живем – от кампании до кампании! Абсурди-стан... И тут ты, старик, прав: в России можно поменять общественную систему на сто восемьдесят градусов, но это ничего не изменит. Люди-то остаются те же, людей-то не поменяешь. Беги, Гера, беги! А кампания кончится – вернешься. Они у нас бурно начинаются, но быстро скисают. Строгость российских законов компенсируется необязательностью их исполнения! Это точно. Интересно, кто первым это сказал? Кто-то сказал...

Второй

А случалось ли вам, милостивые государи и милостивые государыни, случалось ли вам кататься по осенней Москве одна тысяча девятьсот девяносто седьмого года на автомобиле марки «Hummer»? Нет? Мне вас искренне жаль. Эх, был бы я писателем, то взял бы его и описал! Однако не так, как это делают в наше время, – читаешь и не понимаешь, нравится писателю описываемый им предмет, или он его презирает, шутит или всерьез, возвышает или принижает, да всё с насмешкой, с подковыркой, – нет, не так, а как, к примеру, в девятнадцатом веке описывали: ясно, просто, открыто, с милыми сердцу подробностями и радостными восклицаниями. Знаю, знаю – чукча не писатель, чукча читатель, и все-таки:

Что за прелесть этот «Hummer»!

Внутри – как в кабине космического корабля, но не нашего кондового «Союза» или, как он там теперь называется, а их американского «Аполлона-Шаттла». Двигателя практически не слышно, а ведь это военная машина! Кожа, всюду белая мягчайшая кожа. А мой Хворостовский – как астронавт Армстронг. «Один маленький шаг человека – большой шаг человечества». Морда у Хворостовского, конечно, наша, а вот затылок... Ровный, прямой, аккуратный, словно только из парикмахерской – самый что ни на есть американский!

Джи ай!⁴ И все время говорит с Землей. По мобильному. Правда, матерится при этом ужасно... Но ведь для них, американцев, мата, как известно, нет, они его, как известно, отменили! То, что раньше у них считалось матом и было запрещено, теперь разрешено и матом не считается. «Есть запрет – есть проблемы, нет запрета – нет проблем». Кто сказал? Какая разница – кто? Все сказали! Для них теперь публично выматериться, что для нас произнести: «С добрым утром!»

– С добрым утром, дорогие товарищи!

– С добрым ...

Совершенно не помню, как я снова заснул, но зато хорошо помню, как проснулся. Быстро и легко! Голова была чистой и свежей, и я чувствовал себя на удивление отдохнувшим. Минуту или чуть больше я вспоминал сон, увиденный перед самым пробуждением, что-то очень яркое, радостное, весеннее: синее небо, зеленые деревья, ласковое солнце, кавалеристы на конях и длинные, развевающиеся на ветру узкие разноцветные флаги на высоких древках пик... Было реальное ощущение праздника, которое испытываешь только в детстве. Причем, неважно какой: Новый год, Первое мая, полет Юрия Гагарина или твой день рождения, все равно – ПРАЗДНИК! И так не хотелось, чтобы это ощущение уходило, что я прокрутил увиденный сон в памяти два или три раза, наблюдая с легкой грустью, как он тускнеет, гаснет, исчезает, и вдруг услышал шаги – уверенный стук

⁴ Американский солдат. – *Примеч. авт.*

крепких каблуков по гулким дощатым половицам, и голос – сильный, властный, громкий, я бы даже сказал, театрально громкий, забивающий и отрицающий чье-то унылое бубнение или бубнеж.

– Ты поговори мне еще, поговори!

И я сразу почему-то почувствовал, что это ко мне, а точнее – за мной, и успел подумать, что мой невольный обман раскрылся, и немного даже пожалел, что все так быстро кончилось. Поднимаясь, я заметил также, что того славного паренька в нашем «обезьяннике» уже нет, а бомж и два грифоподобных уголовника продолжают присутствовать. И тут он вошел! Нет, не вошел – ворвался, стремительно влетел, и длинные полы его белого, да-да, белого в эту грязюку плаща картинно развевались! И уже тогда мне показалось, что он похож на Дмитрия Хворостовского, на нашего знаменитого певца. Вообще-то, в жизни я Хворостовского не видел, только по телевизору, да и то мельком, раза два или три, кажется, да и не слышал толком, может, он вовсе и не похож, но мне так показалось... У этого моего Хворостовского был вид человека, которому всегда и во всем везет. Так ведь и тому, настоящему Хворостовскому, сказочно повезло – с голосом, внешностью и карьерой. Такая, наверное, получилась аналогия. Повезло... Везение вообще интересная штука, у Геры на этот счет целая теория. Везение, оно же пруха – своевольна и горда. Любит лесть. Но при этом мнительна и пуглива. Обидчива. Нельзя, например, говорить: «Мне не везет» –

этим ты ее обидишь. Гера утверждает, что я не ищу везения. А я в самом деле его не ищу, оно мне попросту не нужно. Потому что у меня всё есть! И это не привычка довольствоваться малым. Не малым, старик, не малым, а достаточным! У меня есть жена, дочь, квартира, любимая работа по профессии. А теперь еще и Даша! Но я отвлекся, извини. Значит – моя встреча с Сокрушилиным (хотя я не знал еще тогда, что его фамилия Сокрушин) была следующей: мент все продолжал бубнить (тот же самый, кстати, с моими часами) что-то вроде «не положено», «начальство придет, а я что скажу», «мне тоже неприятности не нужны», но Сокрушин не слушал, а смотрел на меня с охотничьим азартом во взгляде, словно он пес, охотничий, англо-русская гончая какая-нибудь, а я – дичь, простой серенький зайчишка. Против азарта я, вообще-то, ничего не имею, я и сам человек азартный, только вот охоту – как род занятий не принимаю, и не просто не принимаю, а, будь моя воля, я бы ее запретил! Видимо, Сокрушин почувствовал такое к себе отношение, белозубо, как в рекламе зубной пасты, улыбнулся и громко с иронией в голосе поприветствовал:

– Привет, Чикатило!

Верно, вид у меня был действительно жалкий... Но хотел бы я на вас посмотреть, как бы вы выглядели после ночи, проведенной в КПЗ в компании с бомжами и уголовниками? Однако растерянность моя была недолгой, можно сказать – мгновенной, и я задал вполне уместный вопрос: «А поче-

му...» – точнее, начал его задавать, потому что этот тип в белом плаще после первого слова меня перебил, и наш скомканный диалог выглядел следующим образом:

Я: А почему...

Он: А потому!

Не просто перебил, а, я бы сказал, – передразнил, он смеялся, он явно надо мной смеялся. И тут у меня родилось сравнение... Точнее, даже не сравнение... Глядя на этого человека в белом плаще, я мгновенно подобрал *ему его* двойника – Хворостовского, и мне сразу стало легче с ним общаться. Есть одна (правда, ненаучная) теория, что у каждого живущего на нашей планете человека есть свой двойник. Он не просто похож на тебя, как две капли воды, он с тобой, что называется, одной группы крови, у вас одинаковый генетический код, словом – двойник. Правда, при этом он не знает русского языка, потому что живет в Австралии, где и родился, и у него не один ребенок, а пятеро, а жена – вообще папуаска...

Признавая ненаучно-теоретический характер данной теории, я не просто ей симпатизирую, я по этой теории уже многие годы живу! (Правда, об этом никто, кроме Алиски, не знает.) С подтверждением ее я сталкивался еще в детстве: идешь, бывало, летом по улице – жара, тоска, одиночество, а навстречу идет мальчишка, такой же, как ты, белобрысый, *востроносый*, такой же, как ты, худой, и смотрит на тебя, так же, как ты смотришь на него – удивленно и радостно, и вы

вдруг понимаете, что вы страшно, просто страшно похожи, что вы – двойники... Подрастая, взрослея, постепенно превращаясь из мальчика в подростка, а из подростка в юношу, я практически забыл о тех своих ощущениях, но, прочитав однажды в журнале «Знание – сила» статью о теории двойников – вспомнил. И вот – мне уже за сорок, на макушке хотя и маленькая совсем, но лысина, а на руках почти взрослая дочь, но я по-прежнему в эту теорию верю, как верю в то, что он, мой двойник, существует, как и я существую, и думает обо мне, как и я о нем думаю. Увидимся ли мы когда-нибудь? Возможно, хотя вряд ли. Да и нужно ли? Эта красивая, я бы даже сказал – поэтическая теория («Я знаю – есть мальчишка где-то»⁵ – это ведь тоже о двойнике!) имеет для меня и прикладной, так сказать, характер – помогает быстрее понять незнакомого человека, способствует общению с ним, вот и тогда, как только я его Хворостовским про себя назвал (раскусил?), он нахмурился, стукнул кулаком по трубе «обезьянника» и приказал:

– Выходи!

«Сколько тебе лет?» – подумал я и решил, что никак не больше тридцати. Мальчишка... Я хотел сразу предложить ему не тыкать, жестко и определенно предложить, но... Как говаривал президент Рейган, «есть дела поважнее мира», – за спиной Хворостовского переминался с ноги на ногу и недовольно кривил *морду* мой мент. Не знаю, не уверен, смог бы

⁵ Стихотворение Евг. Евтушенко «Зависть». – *Примеч. ред.*

я подобным образом себя вести, если бы говорил, так сказать, от себя. Но я говорил от тебя. А ты у нас крутой! (Плехинское, кстати, понятие.) Вот я и решил вести себя круто! В конце концов, когда подобная возможность еще представится?

– Я выйду отсюда только после того, как он вернет мне мои часы, – проговорил я твердо и перевел взгляд на мента.

Обтрепанный рукав его дерматиновой куртки был опущен, я не видел в тот момент свои часы, но меня не оставляла уверенность в том, что они находятся на его запястьи. Физиономия у мента была такая, как будто его изводил приступ изжоги.

– Часы? – спросил Хворостовский, полуобернувшись и глядя искоса на мента. Того еще сильнее перекосило.

– Да я побоялся в сейф положить, украсть могут... – мент бормотал еще что-то невразумительное, пока снимал со своей руки мои часы.

Я невольно усмехнулся: ну разумеется, в милиции и из сейфа могут украсть. И еще я подумал: «А хорошо быть Герой!» Мент протянул часы, но не мне, а Хворостовскому.

– О, «Rolle»! – удивился он. – Сколько стоят?

Я хотел ответить, что не знаю, что это подарок, подарок друга, а когда подарки получают, о стоимости не спрашивают, но я знал – шестьсот долларов, Гера сказал это по секрету Женьке, та – Алиске, а Алиска мне.

– Восемьсот, – сказал я и разозлился на себя за то, что

сказал, да еще и приврал, от чего покраснел и еще больше на себя разозлился. (Хорошо, что в тот момент Хворостовский на меня не смотрел.)

– У-у-у, – кривясь, протянул он и, вскинув руку, показал свои часы. Это тоже был «Rolex». – А мои восемь тысяч!

Наверное, он думал, что, услышав такую цифру, я упаду в обморок. Разумеется, я не стал этого делать, а только лишь снисходительно улыбнулся, и тут же в моем мозгу родилась шутка, может, и не такая уж остроумная, но, во всяком случае, своевременная и *уместная*. Я спросил:

– Вы хотите сказать, что ваши часы идут в десять раз точнее моих?

И тут он меня еще раз удивил: засмеялся так, что в первый момент я даже растерялся – прямо-таки залился смехом.

– А... ты... мне... нравишься... – продолжая смеяться, с трудом выговаривал он.

«А ты мне нет», – проговорил я про себя.

Первый раунд был, несомненно, за мной, не знаю, понял ли он это, но, надеюсь, почувствовал. Теперь он уже не смеялся, а, держа мои часы за ремешок, выжидаяще с прищуром на меня смотрел. Странная картина получалась: сыр, то есть мои часы – снаружи, а я – внутри в мышеловке, то есть – в «обезьяннике».

– Выходи, – повторил он свое предложение.

И тут меня охватило раздражение, если не сказать больше. (Видимо, сказывался вчерашний шок.)

«Дверь закрыта, а он говорит: “Выходи”. Он что, издевается?» – так, примерно, я подумал и посмотрел на мента. Надо признать, в тот момент он не казался таким уж плохим. Ведь только он мог мне в тот момент помочь.

– Да открыто! – заорал мент. Он тоже психовал.

И тут я наконец понял свою оплошность! Я совсем несильно толкнул дверь, только до нее дотронулся, а она и отворилась. Наверное, мент открыл замок и не закрыл тогда, когда я спал. Спал и не слышал... Возможно, когда выводил того славного паренька.

Хворостовский хмыкнул. В том не было его заслуги, но второй раунд остался за ним. Однако третий! Мы прошли по длинному коридору: впереди Хворостовский, я – второй, последний – мент, до двери, на которой была прикреплена табличка, каких я сто лет не видел, их давно уже не производят: прямоугольник толстого стекла, черный фон и строгие блекло-золотые буквы: «Начальник отделения милиции тов. Захарик В. К.»:

– Открывай! – приказал Хворостовский, и мент неохотно стал вертеть в скважине большим скрежещущим ключом. Когда дверь наконец открылась и мы вошли в кабинет, я очень удивился, потому что никак не предполагал увидеть подобное. Я даже не представлял, что такое сегодня может быть! Там буквально застыло время. Достаточно сказать, что над начальническим креслом висел на стене большой написанный маслом портрет... Дзержинского... И все остальное:

мебель с инвентарными номерками на видных местах, телефонный аппарат (это был не телефон, а именно – телефонный аппарат, в него не говорят «алло!»), а докладывают: «У аппарата»), пыльные шторы на окнах и блеклые обои на стенах – все здесь было унылое, казенное, советское! На столе стоял граненый графин сталинских небось времен, на полке – книги и брошюры издательства «Юридическая литература», а крайняя называлась «Ленин и закон». «Ну, – подумал я весело, – приплыли!» Среди всего этого Хворостовский выглядел белой вороной, однако и здесь он ощущал себя хозяином. (По-моему, он везде ощущает себя хозяином – правила нарушает, а гаишники ему честь отдают.) Он бросил на спинку стула плащ, расстегнул пиджак (я заметил желтую кожу пистолетной кобуры под мышкой), положил на стол мобильный телефон, который до этого все время сжимал в ладони, поставил на ребро маленький диктофончик и, взглянув на меня, спросил:

– А ты чего не садишься?

И тут я подумал, что мне это, вообще-то, надоело. Я вспомнил, что я крутой, что я – Гера.

– Могу поинтересоваться, почему вы мне все время *тыкаете*? – спросил я. Гера, конечно, сформулировал бы жестче, но и этого оказалось достаточно, – Хворостовский смотрел на меня с пытливым, я бы сказал, интересом.

– Вот так, да? – спросил он.

– Да, вот так, – сходу ответил я.

Так среагировать мне неожиданно помог один из бесчисленных Гериных анекдотов, которые я обычно сразу забываю, но иногда в самые неожиданные моменты они вдруг всплывают в памяти. Так и получилось... Это – филологический анекдот... У Геры они все по разделам: филологические, гинекологические, еврейские (последние я принципиально не запоминаю) и т. д. «Муж и жена проводили кучу гостей, время за полночь, в раковине гора грязной посуды; жена подходит к мужу, кладет ему на плечи руки и, глядя прямо в глаза, шепчет: “Ты мой”. В ответ муж отрицательно мотает головой и говорит: “Мой ты”».

– Ты мой.

– Мой ты.

Интересно, что когда я рассказал этот анекдот Женьке, она только пожалала плечами – не поняла, и потом я сообразил почему: после гостей посуду мою обычно я, Женьке это чаще всего не удается. Дело в том, что за столом она нередко *перебирает*, и я довожу ее до кровати. Наверное, это может показаться странным, но я люблю перебравшую Женьку: она бывает тогда такой славной, такой беззащитной и спит, как ребенок, с улыбкой на устах... А я иду мыть посуду. Не могу сказать, что занятие это мне так уж нравится, но, во-первых, если в раковине возвышается гора грязных тарелок, я все равно не засну, а во-вторых, как всякое дело, оно трезвит и упорядочивает мысли, приведенные застольем в больший или меньший беспорядок. А Женька спит с детской улыбкой

на устах, даже специально хожу на нее смотреть. Еще что мне в Женьке не просто нравится, а, я бы сказал, восхищает, – это то, как мужественно она переносит утром похмелье: выпив в постели чашку кофе, она разгадывает от начала до конца кроссворд, после чего принимается пылесосить квартиру – но тут уже к ней лучше не подходить. Так что понятно, почему Женька этот анекдот не поняла. (А когда я Даше рассказал, она смеялась... «Ты – мой». «Мой – ты».)

– Вот так, да?

– Да, вот так.

И – он сломался! Помолчав (видимо, в борьбе с собой), он неохотно выдал:

– Я могу и выкатать.

– Сделайте милость, – с улыбкой подбодрил я его и отметил про себя это забавное слово – *выкатать*.

– Как ВЫ себя чувствуете? – спросил он, делая ударение на «вы».

– Отлично, – ответил я, сел и закинул ногу на ногу, всем своим видом демонстрируя, что чувствую себя отлично.

– ВАМ мои ребята бока вчера не намяли? – поинтересовался он.

Я пожал плечами.

– Да нет, вполне вежливо себя вели.

В самом деле, не стал бы я жаловаться на то, что один из них назвал меня мордой.

– Эх, знал бы ты, что это за ребята, в каких местах они

побывали, – доверительно поделился он.

И тут я все понял! Что это не я, то есть не ты их, собственно, интересовал, а эти самые ребята, какой-нибудь ОМОН или СОБР, спецназовцы, прошедшие Афган, Чечню и другие «горячие точки»! Ради них все это и было затеяно! Видимо, снимался про них фильм, а я, то есть ты, конечно, мы – были всего лишь поводом, своего рода статистами.

– Разрешите представиться? – спросил Хворостовский, явно ерничая, но тут я не смог оценить юмор, потому что подумал, что, если он назовет сейчас себя, я не смогу назвать тебя. То есть я готов выдавать себя за тебя *сколь угодно долго*, но – ровно до того момента, когда ко мне обратятся с прямым вопросом: «Как вас зовут?» Я не смогу ответить, ни за что не смогу сказать: «Герман Штильмарк», у меня просто язык не повернется. («Кому нужна твоя правда?» – говорит мне время от времени Женька, и я совершенно с ней согласен. Никому. Потому что от нее всем плохо. Даже не знаю, откуда это у меня? Мама?

Ложь унижает человека, – сказала она мне, когда я был еще ребенком и безуспешно пытался выдать за правду какое-то свое детское вранье.

– А правда? – спросил я.

– Правда делает человека сильнее.

Я рос хилым и слабым и, видимо, понял маму буквально. А в результате – патология! Если бы Женька спросила: «У тебя есть кто-нибудь?» – я бы, несомненно, рассказал ей про

Дашу. Хорошо, что не спрашивает.)

– Сокрушилин, слышал? – спросил он и расправил плечи. Похоже, он очень гордится своей фамилией, а точнее – собой, носящим такую выразительную фамилию. Тоже мне – Сокрушилин. Нет, не слышал! Хворостовский – слышал, Сокрушилин – нет. Я уже собирался его разочаровать, как вдруг – вспомнил! Не слышал – читал. Совсем недавно, в «Столичном молодежнике»⁶, огромную, чуть не на целую страницу, статью о провинциальном следователе (а он, конечно, из провинции, произношение у него явно не московское), из Сибири, кажется, из Сибири, да, о том, как он распутывает там самые запутанные дела, бесстрашно внедряется в преступные группировки, устраивает засады и погони, стреляет без единого промаха – этакий сибирский Робин Гуд. И еще там была фотография – он в одной белой сорочке (без пиджака и галстука), а под мышкой пистолет в светлой кобуре, благодаря которой я и вспомнил... Он, именно он! Статья называлась как-то очень броско, хлестко, но как – сейчас уже вряд ли вспомню.

И я уже хотел сказать, что не слышал, но читал, однако Сокрушилин моего ответа не дождался, он, похоже, совершенно не умеет ждать.

– Не слышал, так услышишь! – выкрикнул он и неожиданно громко и довольно неприятно засмеялся.

⁶ Названия некоторых газет и журналов изменены по тем же понятным причинам. – *Примеч. авт.*

Нет, это даже хорошо, что я не сказал, не надо поощрять в человеке его бахвальство. Сокрушилин оборвал смех так же неожиданно, как и начал смеяться, посмотрел на меня удивленно и решительно и решительным же жестом нажал на кнопку диктофона. Мгновенно в его правом углу загорелся маленький красный квадратик. Я смотрел на него и не находил в себе сил отвести взгляд. Этот КРАСНЫЙ КВАДРАТ действовал на меня совершенно странным образом: он подавлял меня, обезволивал, гипнотизировал. Я ощущал себя кроликом, заглянувшим в глаза удаву, я был готов ответить положительно на любой, даже самый нелепый вопрос:

– Вы Марк Аврелий?

– Я.

– Вы убили старуху процентщицу?

– Убил.

Хотя дело не в гипнозе, конечно, никто меня не гипнотизировал, думаю, это происходило оттого, что я страшно не люблю, просто терпеть не могу, ненавижу – фотографироваться, а тем более записываться на всякие так называемые аудио- и видеоносители. На позапрошлый, кажется, Новый год, когда я не захотел вместе со всеми фотографироваться, Женька прямо меня спросила: «Боишься оставить след в истории?» – «При чем здесь история?», – хотел возразить я, но неожиданно признался: «Боюсь». Да, боюсь! Боюсь, потому что... стыдно...

Сокрушилин не спросил про убитую старуху-процентщи-

цу. Его вопрос прозвучал для меня, как гром среди ясного неба.

– Фамилия. Имя. Отчество, – произнес он громко и раздельно.

Нет, я не проигрывал третий раунд, я его уже проиграл, а значит, и весь поединок в целом. Это был не проигрыш, это была КАТАСТРОФА.

Уставившись в этот красный квадрат, как идиот, я уже разинул рот, чтобы выложить все как есть. Как вдруг... (Как Алиска говорит, принося из школы приличную отметку, «его величество случай».) Сначала в коридоре загрохотали шаги, а потом открылась дверь. Да нет, не открылась – распахнулась, чуть с петель не слетела, и, если бы это произошло, нас с несчастным Сокрушилиным на том же самом месте просто *сокрушило* бы! (В этот самый момент я взглянул на Сокрушилина. Он сильно побледнел. Где-то я читал, что в минуту страшной опасности все люди либо бледнеют, либо краснеют. Бледнеющие – по сути своей бойцы, и именно таких, говорят, отбирал в свое войско Александр Македонский. Я – краснею. Он бы меня не взял. Но не обо мне сейчас речь!) На пороге стоял Захарик. Вне всякого сомнения – Захарик. Захарик, но какой! Захар! Захарище! Здоровый, как медведь, дядька, с густой сивой шевелюрой. На нем была расстегнутая шинель с полковничьими погонами, а из-за его спины выглядывали испуганные физиономии двух ментов: один – знакомый, *мой*, другой – чужой, незнакомый.

– Ты! – заревел медведь Захарик, громко топоча и наступая. – Ты... что... тут это, а?!

– Я веду допрос, – с достоинством ответил Сокрушилин. (Он, видимо, все еще рассчитывал разойтись миром. Для меня же это было неочевидно с самого начала.)

– А ну вон из моего кабинета!!! – еще громче заревел Захарик.

Тут и Сокрушилин, кажется, понял, что мир с этим человеком невозможен.

– Что-о-о?! – протяжно завопил он, приподнимаясь из-за стола и как бы увеличиваясь в размерах. Хотя Захарик он проигрывал: и голосом, и статью. Если тот – медведь, то этот... даже не знаю кто: олень какой-нибудь, марал?

– Па-шёл вон, сопляк! – заорал Захарик, «включая громкость» на полную катушку.

– Ты! – закричал в ответ Сокрушилин, тоже прибавив звук. – Коммунист! Железного Феликса за спиной держишь?! А на другой стороне кто нарисован?! Ленин?!

– Сталин!! – хрипло проорал в ответ Захарик.

Ну а дальше совсем паноптикум начался! Пинг-понг, в котором вместо шарика летало чугунное раскаленное ядро: туда-сюда, туда-сюда... А я вместо сетки. То есть мне совершенно не было страшно, наоборот, мне было весело, жутко весело! Дальше в ход у них пошли фамилии. Фамилий было много, и я ни одной не запомнил.

Один кричит:

– А ты Иванова знаешь?

(Это как пример.)

Другой в ответ:

– А ты Петрова знаешь?

(Это тоже как пример.)

– А мой Сидоров твоего Петрова!

– Да с твоим Сидоровым мой...

А одна фамилия – то ли Копёнкина, то ли Опенкина – полковника неожиданно развеселила, и он стал хрипло, одышливо смеяться, приседая и хлопая себя ладонями по ляжкам, повторяя ее на разные насмешливые лады.

Сокрушила такая реакция обидела.

– А хочешь, я ему сейчас позвоню, и через пять минут ты не будешь здесь работать? – с таким вопросом обратился он к Захару и снял с телефонного аппарата трубку.

Полковник подпрыгнул на месте, от чего в кабинете все вздрогнуло, и закричал:

– Положь!

В первый момент я подумал, что он испугался этого самого то ли Копёнкина, то ли Опенкина, но тут же понял, что Захарик не был против, чтобы Сокрушил звонил, он был против, чтобы тот пользовался его телефонным аппаратом.

– Положь, я сказал! Бери свою погремушку и звони! Хоть черту лысому звони! – Захарик имел в виду сокрушилский мобильный, и я успел подумать: какая все-таки образная у него речь – владельцы мобильных телефонов носятся с

ними, как грудные дети с погремушками, никогда не выпуская их из рук⁷. Сокрушилин дважды встряхнул свой мобильник, но звонить почему-то не стал, а спрятал в карман пиджака. Видимо, Захарик расценил данное действие как выброшенный белый флаг и стал обличать – негодуя и громкогласно:

– Ворье! Разворовали страну! Набили карманы! Дерьмократы!

– Вы имеете в виду кого-то конкретного? – поинтересовался Сокрушилин, натягивая плащ.

– Да тебя первого!

– А еще кого?

– Кого? Да всех вас, таких, как ты!

– А конкретно? – Сокрушилин сделался вдруг сухим и деловитым.

– Конкретно? Да хотя бы твоего Иванова!

Сокрушилин удовлетворенно и деловито кивнул.

– Вы говорите, говорите, а то пленка кончается, – и он показал пальцем на работающий диктофон, про который я совершенно забыл. Захарик посмотрел на него, развел руками и засмеялся. Смеялся он неумело, но искренне и хорошо – глядя на него смеющегося, сам не знаю почему, я испытывал радость.

⁷ Тут приходится напомнить, что в 1997 году, когда все это происходило, мобильный телефон был малодоступен из-за своей дороговизны. Трубка, помнится, стоила пять тысяч долларов, минута разговора – доллар. – *Примеч. авт.*

– Хах! Испугал! Хах-хах! Испугал ежа, хах, голой ж...й!

Я, конечно, извиняюсь, но тут, как говорится, из песни слова не выкинешь. Разве что несколько букв.

Однако этого довода товарищу Захарiku показалось мало и он прибавил:

– На...ть, – я опять очень извиняюсь, но именно так он и сказал, – мне на твоего Иванова!

Но и этого мало! Полковник наклонился к диктофону и проговорил отчетливо и громко:

– На...ть!

(Повторяю – это голая цитата.)

– А на Петрова?

Ответ был аналогичный. Они прошлись еще раз по тем же самым фамилиям, но уже в новом, так сказать, их состоянии... Потом возникла короткая пауза, потому что фамилии, как мне показалось, кончились, но на самом деле оставалось еще одна, главная, Сокрушилин готовился произнести ее вслух, и именно поэтому возникла пауза.

– А на Копёнкина-Опенкина? – холодно и жестко потребовал ответа Сокрушилин, и до меня стало доходить, что этот человек совсем не так прост.

Это был удар... Захарик замялся, закричал, все больше и больше краснея, стрельнул затравленным взглядом на дверь, где торчали уже не две, а четыре ментовские физиономии, и задушенно и обреченно просипел:

– Тоже на...ть...

Да, Александр Македонский был прав: на моих глазах бледнеющий марал победил краснеющего медведя. Сокрушилилин артистично подхватил со стола диктофон, поднес ко рту и озабоченно и деловито проговорил:

– Записано верно, одиннадцатое ноября 1997 года, – и, взглянув на свои восьмидесятидолларовые часы, назвал время: – Девять часов пятнадцать минут утра, кабинет полковника Захарика, в присутствии свидетелей.

Вот, брат, как рождается компромат! Можно сказать – играючи. Сокрушилилин щелкнул кнопкой – красный квадратик наконец погас, – опустил диктофон в карман плаща и широко, я бы даже сказал, победно шагая, направился к двери. Менты, которые все время там торчали, куда-то испарились. На пороге Сокрушилилин остановился. Я, признаться, подумал, что он вспомнил обо мне, но не тут-то было! Знаешь, что он Захарика на прощание сказал?

– Мы к вам еще с шаболовскими завалимся. Мы вам тут кровавую баню устроим.

Ты понял? Нет, ты понял?! Раньше бы я подумал, что речь идет о бандитах, солнцевских там всяких и прочих, но шаболовские – это ведь РУБОП! Есть даже поговорка: «Круче солнцевских только шаболовские». Где-то я ее слышал, кто-то мне ее говорил. Кто? Да ты же мне ее и говорил, от тебя же я ее и слышал! Ну, значит, ты сам все сразу понял. «Мы к вам с шаболовскими завалимся, мы вам кровавую баню устроим». Каково?

Но эту угрозу Захарик воспринял неожиданно *индифферентно*. Он вяло махнул рукой в спину уходящему Сокрушилину и проговорил тихо, на сиплом выдохе:

– Валяйте. У нас на всех патронов хватит.

Такое вот, Гера, было цирковое представление... Но как тебе нравятся взаимоотношения наших правоохранительных органов? Это же просто беспредел, настоящие криминальные разборки! Абсурдистан! Абсурдистан...

А между тем я продолжал сидеть там же, где и сидел, испытывая странное чувство. Я как бы был, и меня как бы не было... Для Сокрушилина я, похоже, кончился, а для Захарика не начинался. Причем он меня не игнорировал, нет, он действительно меня не замечал! Этот *настоящий полковник* тяжело подошел к столу, неловко, боком пристроился на стул и, наклонившись и тупо глядя перед собой, стал шарить в столе рукой. Была в Захарике при этом такая сосредоточенность, что я с веселым ужасом подумал вдруг: «Вот вытащит сейчас оттуда гранату, выдернет чеку и швырнет в коридор, вслед Сокрушилину». Но он вытащил оттуда лишь початую бутылку боржома. Выпив залпом два неполных стакана, полковник вытер ладонью рот, гулко и протяжно рыгнул и, наконец, заметил меня. Я улыбнулся. С моей стороны это было бестактным и даже жестоким, но я ничего не мог с собой поделать – смотрел на него и улыбался, но в той моей улыбке не было ни капли насмешки, даже иронии не было – этот человек, полковник Захарик, несмотря на его несомненные про-

коммунистические убеждения, вызывал у меня симпатию.

– А ты чего тут делаешь? – устало спросил он.

На данный вопрос ответить мне было нечего, поэтому я только пожал плечами.

– Кто такой? – кривясь и потирая под ложечкой ладонью, задал Захарик второй вопрос, на который я также затруднился ответить.

На помощь неожиданно пришел тот самый *мой* мент.

– Это задержанный, Виктор Кузьмич. Сокрушилинский...

– За что задержан? – равнодушно спросил меня Захарик.

А этот ответ дался мне легко и просто:

– Ни за что.

Полковник громко вздохнул, задумался о чем-то совершенно ко мне не относящемся и сказал совсем негромко, но я услышал:

– А тогда чего здесь сидишь?

Я поднялся и вдруг увидел оставленные Сокрушилиным мои часы на столе.

– Мои, – объяснил я Захарiku.

– Забирай, если твои, – равнодушно проговорил он.

Я взял часы, подошел к двери, и сказал:

– До свидания.

Захарик не ответил. Я вышел.

«Ну вот и всё, – подумал я. – Очень неожиданно началось и еще более неожиданно кончилось». Миновав длинный коридор и открыв тяжелую железную дверь, я вышел на высо-

кое кирпичное крыльцо. Странно, вчера мне казалось, что нахожусь я где-то в центре, в районе ГУМа, но ГУМом здесь и не пахло. Предстояло выяснить, где расположена ближайшая станция метро, но это было пустяком в сравнении со всем произошедшим. (Я даже не подумал, на что я куплю жетон, у меня совершенно не было денег.)

Я улыбнулся, вздохнул полной грудью и подумал: «Свобода!» и даже, кажется, произнес это слово, впрочем, без пафоса, и очень хорошо, что без пафоса, потому что в тот самый момент увидел стоящего внизу Сокрушилаина. Вид у него был задорный и деловитый. Он призывно махнул рукой и крикнул:

– Ну что стоишь? Поехали!

За его спиной возвышались темно-зеленые квадраты металла и стекла. Это был «Hummer»! Ты знаешь, что к технике я отношусь с безразличием, для меня проблема – отличить «девятку» от «шестерки», все эти железяки меня ни капельки не волнуют, но «Hummer», Гера, «Hummer»... Когда этой весной я увидел его стоящим на тротуаре рядом с магазином «Triniti Motors», что на улице Горького (то есть теперь уже на Тверской), то встал как истукан и стал смотреть на эту, в общем-то, конечно, железяку, как... на чудо природы, как на Гранд Каньон, на тиранозавра какого-нибудь... Я стоял, обалдевший, и рядом стояли несколько таких же обалдевших, как я. Мы даже мнениями не обменивались – молчали. Один только высказался:

– Они на таких Саддама сделали.

И все сразу поняли, что имеется в виду операция «Буря в пустыне», и продолжали молча глазеть. На дверце «Hummer'a» скотчем была приклеена бумажка с выходными, так сказать, данными: скорость, количество лошадей и прочее, а внизу цена – 113 000 USD. И хотя в тот момент в моем кармане лежал один жетон на метро, я был согласен с этой ценой. ТАКОЕ и должно СТОЛЬКО стоить. И, сознаюсь, я представил себя за рулем «Hummer'a». Да, помечтал... Но совсем немного, можно сказать, чуть-чуть. Вероятно, это не такое уж стыдное занятие – мечтать, но я почему-то стыжусь. Мечтаю и стыжусь, стыжусь и снова мечтаю. Да и в самом деле, когда тебе перевалило за сорок и ты начинаешь стремительно катиться к полтиннику, мечтать поздно, а я все мечтаю... Ну да, а ты, конечно, нет? Врешь! Помнишь, как я предлагал тебе встретиться – пивка попить, а ты: «Не могу, старик, извини, идут живые деньги». «Идут живые деньги». Они идут, а ты уже мечтаешь, как будешь их тратить. Разве это не мечта? Мечта! (Никогда не смогу понять, как деньги могут быть живыми? Книжки, я понимаю, – живые, а эти жалкие замусоленные бумажки с цифрами? Нет, никогда не смогу я этого понять!) А помнишь, как ты мне проиграл бутылку французского коньяка? Ты утверждал, что у Пушкина: «Мечты, мечты, в чем ваша сладость?» А я – что «где». «Мечты, мечты, ГДЕ ваша сладость?» Разумеется, я оказался прав. Но вот какая мысль родилась сейчас: если следо-

вать Пушкину, получается что наши мечты существуют отдельно от удовольствия, ими доставляемого? И довольно далеко! «Где»? И где, кстати, проспороенный коньяк? Нет, старик, мечта мечте рознь. Я ведь не мечтаю о благосклонности Клаудии Шиффер. (Тем более что она совершенно не в моем вкусе, и если уж говорить о топ-моделях, то Линда Евангелиста, по-моему, вне конкуренции. А если уж совсем серьезно, то, когда в моей жизни появилась Даша, про Линду я и думать забыл.) Так что, если я и мечтал посидеть за рулем «Hummer'a», то совсем-совсем недолго, и тут же, с юмором – подумал, что я не только за руль «Hummer'a» никогда не сяду, меня и в салон его никто никогда не пустит. Никто и никогда, да. Ну и что?! Как Жванецкий говорил в одном своем блестящем монологе: «Никогда не буду узбеком». Да, не буду, и что? Но в самом деле – кто? где? когда? Кто, где и когда стал бы катать меня на «Hummer'e»?

Так неожиданно сбылась моя мечта...

А маршрут-то у нас крутой! Три раза по Садовому кольцу, как вам это нравится? Сокрушилин ведет себя так, как будто там, в ментовке, ничего не случилось. Я бы на его месте полведра валокордина выпил, а с него – как с гуся вода! Музыкачку включил, по телефону болтает... Музыкачка, между прочим, зубодробительная, бьет изо всех углов, не приклониться. Остановившись на Краснопресненской напротив «Макдоналдса», Сокрушилин сделал мальчишкам знак рукой, и они мгновенно приволокли два бумажных пакета, на-

битых американской едой. Один пакет Сокрушилин оставил себе, а второй бросил мне на заднее сиденье. (Впрочем, сделал он это для меня не обидно, а опять же по-американски, если судить по американскому кино, у них все так делают: один неожиданно бросает, а другой ловко ловит. Я тоже поймал, правда, совсем не по-американски, неловко, наверное, со стороны это выглядело даже смешно.) «Ешь», – приказал Сокрушилин. В пакете лежали два больших бигмака и два обжигающе-горячих пирожка с повидлом, сделанным невесть из чего. Терпеть не могу эту американскую еду (Женька тоже, а Алиска обожает), но съел всё, даже пирожки с этим ужасным повидлом, потому что, как выяснилось во время еды, здорово проголодался. Сокрушилин тоже ел с аппетитом и при этом беспрерывно болтал по мобильному. Запили клубничным коктейлем, который тоже принесли мальчишки. Это единственное, что мне в «Макдоналдсе» нравится, и я бы выпил его с удовольствием, если бы не горло, пил и думал: «Напрасно я это делаю». Поев и выбросив пустой пакет в окно(!), Сокрушилин рванул на Котельническую мимо высотки и, выехав на пустынную набережную Яузы, так стал гонять! В какой-то момент я даже испугался, решив, что никакой он не следователь, а самый настоящий бандит, но тут же вспомнил КПЗ, мента, Захарика и успокоился, а увидев отдающего честь гаишника, успокоился окончательно: гаишники бандитам честь пока еще не отдают. И вот что я понял:

а) он катается, он просто катается! (Наверное, недавно ку-

пил этот «Hummer» и теперь наслаждается ездой.)

И б) (это главное) он чего-то ждет. Чего-то очень важно, от чего зависит вся его будущая карьера и, может быть, жизнь. Он ждет звонка. Звонок ценою в жизнь, как тебе?

И вот почему я это понял... Все свои телефонные разговоры, дурацкие, бессмысленные, то и дело *перемежающиеся* матерными словечками и дурацким бессмысленным хохотом, он заканчивает одной и той же фразой, вдруг становясь в этот момент предельно серьезным и собранным:

– Жду. Молчит.

Или так:

– Жду! Молчит.

Или еще так:

– Жду – молчит...

Теперь, с позволения сказать, о персоналиях, то есть о тех, с кем он разговаривал. Собственно, имен собственных, как таковых, не было, одни прозвища, клички. (Вот почему я еще подумал, что он бандит.) Разумеется, ни одной *кликухи* я не запомнил, но две в памяти почему-то задержались: Дед (он же Дедушка) и еще Наум. Не могу сказать, что эти, с позволения сказать, имена упоминались чаще других, скорей реже, просто интонация, с какой они произносились, несомненно, выделяла их из общего ряда. Это была интонация не уважения даже, а, я бы так сказал, – подчинения; на иерархической лестнице, на которой все они пребывают (и наш Сокрушилилин в том числе), Дед и Наум находятся на самой

верхней ступеньке. Причем главный – Дед, он – бугор, пахан, начальник, Наум же стоит ниже. Но вот что интересно: говоря о Дede, Сокрушилин позволяет себе интонацию насмешливую, о Науме же говорит с несомненной любовью, причем не скрывая ее, а всякий раз интонационно ее подчеркивая. (А что, если Наум – она, женщина, которую любит Сокрушилин? Тогда Дед – это ее отец, и от него зависит, будут они вместе или нет? По-моему, эта версия имеет тоже право на существование.)

Так вот, продолжаю свое *донесение*: будущее Сокрушилина зависит от того, видел Дед или не видел: если видел – хорошо, не видел – плохо. Очень плохо! Что видел? Не знаю. И этого пока никто не знает. А узнать это может только Наум: видел Дед или нет. А Наум молчит. «Жду. Молчит... Жду, молчит». Я, конечно, испытываю неловкость от того, что, получается, подслушиваю чужие телефонные разговоры, но, во-первых, делаю я это в буквальном смысле слова – невольно, а во-вторых, не ради себя, а ради тебя, быть может, эта информация тебе еще пригодится... Да, а последний свой разговор Сокрушилин закончил со столь многозначительной интонацией, что я с трудом удержался, чтобы не рассмеяться. Он сказал: «Ждать и догонять хуже нет». Это, кажется, из фильма «Ошибка резидента»? Как фамилия того актера, уютная такая... Ручкин? Нет, Ножкин! А сентенция, по-моему, выеденного яйца не стоит. Я, правда, в жизни никого не догонял и ни от кого не убегал, но, думаю, убегать

даже хуже, чем догонять. Догонял и не догнал, ну и что? А вот убегал и поймали – это уже... (Беги, Гера, беги!) Да и ждать тоже... Особенно – стоя...

Больше всего на свете не люблю стоять. Просто – стоять: на ногах, на *ножках*, на своих двоих... Мне просто плохо становится от любого вынужденного стояния. Возможно, это происходит оттого, что в детстве иногда мама ставила меня за шкафом в угол. Это было страшное наказание, означавшее, что я очень сильно ее огорчил, и, видимо, осознание данного факта, а не само как таковое *стояние* приводило меня в ужас, заставляло страдать и раскаиваться. Прошли годы, и сегодня никто, даже мама, не может меня таким образом наказать, но с тех самых пор я стараюсь не стоять! Нигде и ни при каких обстоятельствах. Сидеть, лежать, идти, бежать (рифма!) – это пожалуйста, но – не стоять. И не то чтобы я устаю, я вообще-то выносливый, просто сначала возникает какой-то внутренний дискомфорт, а потом начинает расти непонятная внутренняя тревога... Я неоднократно анализировал этот процесс и сделал вывод, что в такой момент во мне включается психологическая цепь, сохранившаяся еще с детства, но со временем ее конечные звенья как бы поменялись местами – если в детстве она выглядела, как голова – ноги, то теперь ноги – голова. А вот сидеть люблю! А еще больше – ходить. Просто ходить. Ходить и думать... Думать – что это вы, Герман Генрихович, там натворили? И кстати, что это Сокрушилин, как только меня увидел (я еще в «обе-

зьяннике» торчал), назвал меня Чикатилой? Или, ха-ха, Чикатилом? («Фамилии с окончанием на – о – не склоняются». Я помню, мама, это я просто пошутил!) Я его – Хворостовским, а он меня, значит, Чикатило? Похож? Странная штука: когда я впервые увидел в газете портрет этого, с позволения сказать, человека, мне тоже показалось, что я на него похож, и, надо признать, неприятно стало от одной этой мысли. Я Женьке даже тогда ту фотографию показал и спросил: «Похож?» «Ничего общего», – ответила Женька и поинтересовалась: – «А кто это?» «Композитор Гуно», – сказал я почему-то, сам даже не знаю почему, возможно, слышал перед тем по «Эху Москвы» передачу Артёма Варгафтика, я всегда его слушаю, он очень интересно про композиторов рассказывает. «Гуна нам только не хватает», – сказала Женька, она тоже любит пошутить с фамилиями, которые на – о оканчиваются. Никто и никогда не говорил мне об этом моем мнимом сходстве, и я напрочь о нем забыл, но Сокрушин заставил вспомнить. Или?.. Что – или? Или – никакого сходства нет, а есть происшествие на сексуальном фронте? Но этого не может быть, потому что не может быть никогда! По логике вещей, если бы тебя заподозрили в чем-либо подобном, меня бы не посадили в банальный милицкий «обезьянник», с такими обращаются куда как более серьезно. Это – во-первых. А во-вторых, таких не катают на «Hummel'е» и не кормят гамбургерами... (Нет, гамбургеры лучше не вспоминать, а то меня что-то подташнивает, хо-

тя, скорее, это не гамбургеры, а повидло в пирожках – сто-процентно химический продукт.) Да... Да, и в-третьих, и это главное, это, можно даже сказать, во-первых: Гера и сексу-альное преступление – вещи несовместные! «Нет такой вер-шины, которую не могли бы покорить большевики, нет та-кой женщины, которую не мог бы покорить Герман Штиль-марк». Это не я сказал, а ты, без ложной скромности. (Хо-тя я-то так не считаю!) Но один случай мне запомнился, я тогда на какое-то время поверил, что действительно нет та-кой женщины... Дело было в приснопамятные застойные го-ды, Гера заработал какие-то деньги (он приторговывал тогда пластинками), и мы пошли в ресторан. Ни много ни мало, это был «Националь»! А мы были студенты. Неплохо, да? А в углу сидела за чашечкой кофе женщина, в которую я сразу же влюбился. Влюблялся я тогда часто, чуть ли не каждый день, но тот случай был особенный. То была женщина моей мечты! Похожая на молодую Татьяну Доронину, в которую, кстати, я тоже был влюблен, заочно разумеется, – по филь-мам, спектаклям и фотографиям. Гера насмешливо называл таких женщин продавщицами. Куда, кстати, они делись, те невысокие, крутобедрые, пышнотелые блондинки с мягким грудным голосом и влекущим воркующим смехом? Продав-щица... А у самого глаза загорелись! В ней была тайна... И я сказал:

– Старик, выключи дальний свет.

– Ты уверен? – спросил Гера.

– Уверен.

– Точно?

– Точно.

Тогда он взял салфетку, что-то на ней написал и попросил официанта ей передать. Да-а... В общем, Гера ушел с той женщиной и вернулся утром. Утомленный и как бы разочарованный, каким он всегда выглядел в подобных ситуациях. Я понимал, что не имею права на него обижаться, что я сам виноват – сам первый начал, фактически спровоцировав ситуацию, но все равно – в тот день с Герой я не разговаривал. Однако так хотелось знать, какие он там слова написал, я просто не мог их себе представить! Анна Петровна Керн, как известно, не устояла, когда прочла: «Я помню чудное мгновенье...»⁸. Неужели в самом деле – стихи? Но Гера не только не писал стихов, он, по-моему, их никогда не читал. Я терялся в догадках, но держался. Вечером Гера сам спросил:

– Хочешь знать, что я ей написал?

У меня не хватило сил сказать «нет», я просто промолчал.

– «Сколько?» – сказал Гера.

– «СКОЛЬКО?»

Гера убежден, что можно купить любую женщину. «Все дело в сумме, старик, одна удовлетворится сотней баксов, другая тысячей, а на третью нужно потратить десять штук». Любую? Нет, старик, не любую, лично я знаю по крайней ме-

⁸ Насколько мне известно из доступных литературных источников, А. П. Керн не устояла раньше. – *Примеч. авт.*

ре двух. (А сколько тех, кого я не знаю?) Да, по крайней мере двух! Ну хорошо, Женька – моя жена, ее мы трогать не будем, хотя я убежден, на все сто процентов уверен, что с ней этот номер не пройдет. А знаешь, почему я так говорю? Я ее спросил однажды, когда Алиски дома не было: «Что ты сделаешь, если к тебе на улице подойдет мужчина и предложит деньги?» (Почему-то вспомнились эти твои слова, и я решил спросить.) Так, знаешь, что моя Женька ответила? «Дам в морду». Мрачно так: «Дам в морду». И даст, обязательно даст, я мою Женьку знаю. Хорошо, Женька – моя жена, а Даша (с которой я тебя пока не познакомил, и, иногда мне кажется, никогда не познакомлю, ну тебя к черту!), так вот – Даша... Сначала я просто предлагал ей деньги, потом оставлял, как бы забывая, но всякий раз Даша была *непреклонна* и *неизменно* их мне возвращала. Разумеется, я давал ей деньги не с той целью, с какой ты это делаешь, я просто пытался ей как-то хоть немного помочь, потому что живет она с Тотошкой одна, и живет трудно, но, согласишься, в подобной ситуации их даже легче принять. «Нет». Всякий раз я слышал в ответ ее решительное и твердое «нет». Нет, старик, хоть ты мне и друг, сволочь ты порядочная! Я ведь давно тебя раскусил, понял, почему получаешь ответ только положительный. Потому что ты никогда не обращаешься к тем женщинам, которые могут сказать «нет», а только к тем, от которых, ты уверен, услышишь в ответ «да». Ну что, раскусил я тебя? Раскусил, раскусил!

Ой, что-то меня действительно подташнивает... Нет, эта Америка не для наших желудков, к этому надо с молодых ногтей привыкать. Как мой Сокрушилин-Хворостовский... Чем-то он мне все-таки симпатичен! На светофоре у магазина «Армения» (я даже не заметил, как мы вновь оказались в центре) мы покупаем (мы покупаем – это неплохо) – Сокрушилин покупает у мальчишек свежий номер «Столичного молодежника» и запечатанный в целлофан «Playboy». У мальчишек, да... (Хорошо помню, с какой надеждой и нетерпением я ждал обещанный Гайдаром рынок, но теперь, в такие вот моменты, когда вижу торгующих детей или копающихся в мусорных баках старушек, я его, этот рынок, просто ненавижу!) Кстати, впервые на моих глазах человек покупает «Playboy». Сам я никогда не смог бы это сделать. Надеюсь, во мне говорит не ханжество, я умею восхищаться красотой женского тела и никогда не забуду обнаженную Жанну Болотову в фильме «Подранки», но, во-первых, пятьдесят тысяч рублей за журнал – сумма несоразмерная, я бы даже сказал – неприличная, – когда для многих, для тех же мальчишек и старушек, и тысяча – огромные деньги, а во-вторых, я просто не представляю, как в том же самом киоске «Союзпечати», в котором ты когда-то покупал сначала «Пионер», потом «Технику – молодежи», потом «Юность», наклонившись к этому маленькому уютному окошечку, сказать: «Дайте, пожалуйста, “Playboy”». Не представляю, просто не представляю! (Это все равно что прийти в свою родную аптеку

и попросить не фарингосепт, а... Я, кстати, так и не смог, и в конце концов эту нелегкую миссию благородно и мужественно взяла на себя Женька...)

Сокрушилин бросает «Playboy» на заднее сиденье рядом со мной, а сам углубляется в чтение «Столичного молодежника». Да, симпатичная, я бы даже сказал – красивая... Но и вульгарная, конечно. К тому же худые брюнетки всегда оставляли меня равнодушным. «Ни дня без оргазма». (Просто помешались все на этом оргазме!) Я, кстати, как-то спросил Геру (просто хотел проверить свои наблюдения и рассуждения), покупал ли он когда-нибудь «Playboy». «Я давно вырос из этого возраста», – насмешливо ответил мой друг. А вот мой Сокрушилин, еще, значит, не вырос. Испытывает бурный период полового созревания. Что ж, он и у меня был бурным! Однажды (в конце восьмого класса) я притащил домой польский журнал «Экран» – на ужасной бумаге с ужасного качества фотографиями, но там действительно были какие-то полураздетые красотки. Вообще-то (как мне казалось), я принес его не для того, чтобы на них глазеть, а для того, чтобы начать изучение польского языка, о чем с гордостью и сообщил маме, но она поняла это по-своему, то есть – правильно поняла, и на следующий день я с удивлением обнаружил лежащую на моем письменном столе тоненькую брошюрку синего больничного цвета. У нее было два автора: И. И. Райхельштокк и Т. В. Нефедкина. Издательство медицинской литературы, 1971 год. Называлась она

коротко и страшно: «О вреде онанизма». Я испытал сильнейшее потрясение! Потрясло даже не то, что мама может это про меня знать, а то, что она может это про меня предположить! Я прочитал брошюру три раза подряд, а потом, взяв из кухни довольно-таки острый топорик для разделки мяса, которым на моей памяти мы никогда не пользовались, положил его в своей комнате на видное место, предполагая отрубить себе руку, если вдруг... Интересно, что мама так и не спросила, почему в моей комнате кухонный топорик? Но он действительно мне помог. (Ну и Колька Золотоносков помог, конечно, тоже: это пагубное занятие привело его к нервному и физическому истощению, о чем предупреждали крупные в этой области специалисты Райхельштокк и Нефедкина.) А Сокрушилин меж тем читает газету, водя по строчкам указательным пальцем. Читает по слогам? Я не удивлюсь... Но неудобно перед людьми: на светофоре давно зеленый, а сзади машины стоят, ждут, сигналият... Нет, он что-то ищет там, выискивает какую-то чрезвычайно интересующую его информацию...

– Есть! – восклицает он, и я надеюсь, что мы наконец тронемся, в самом деле – неудобно перед людьми, но не тут-то было...

– Есть... – повторяет Сокрушилин удовлетворенно и откидывается на спинку сиденья. А сзади уже не сигналият, а просто начинают нас объезжать. Причем – никакого крика, ругательств, никто не крутит у виска пальцем, лишь погля-

дывают недовольно. Вот что такое «Hummer»! (Попробовал бы я устроить подобное на твоём «эсэре»...) А Сокрушилин меж тем все смотрит в газету. Это первая страница, где внизу печатаются коротенькие заметки о разного рода имевших место в Москве происшествиях, чаще всего – кошмарных, но иногда забавных и познавательных, я их тоже всегда прочитываю, если уж попадает в руки «Столичный молодежник». (Не люблю данный печатный орган за его развязный и агрессивный тон.) Нет, он действительно читает по слогам? Уже снова красный загорается, и за нами выстраивается новый хвост. Ну, кажется, наконец прочитал... Поворачивается ко мне, заговорщицки подмигивает и, улыбаясь, спрашивает:

– Хочешь про себя прочитать?

Вопрос, конечно, интересный, если не сказать – дурацкий; не знаю, как бы я ответил, если бы там действительно было написано про меня: «хочу» – глупо, «не хочу» – еще глупее, но про тебя, старик, я должен знать, чтобы наконец сориентироваться, как в данной ситуации себя вести...

– Вот здесь, – не дожидаясь моего согласия или отказа, Сокрушилин тыкает в газетный лист пальцем и одновременно срывает «Hummer» с места. Меня откидывает назад, но я успеваю прочитать заголовок: «От 5 до 10». Ого, это уже серьезно! Видимо, чтобы я не ошибся, Сокрушилин даже проткнул заметку пальцем. Усаживаюсь поудобнее, разглаживаю бумагу на колене и внимательнейшим образом прочитываю. Раз... Два... Три... И ничего не понимаю, реши-

тельно не понимаю. Я выучиваю текст наизусть, но все равно ни фига не понимаю!

От 5 до 10

С будущего года департамент народного образования Москвы вводит в школах города следующее нововведение. На выпускных экзаменах преподаватель сможет теперь поинтересоваться у школьника его знанием библейских заповедей, коих, как известно, имеется числом десять. Но знать первые четыре почему-то совершенно необязательно и только за незнание заповедей от № 5 до № 10 включительно можно схлопотать двойку. При сегодняшней моде на православие подобное рвение наробраза неудивительно, но имеет ли он право требовать знания Библии от мусульманина, иудея или кришнаита? А если школьник – атеист?

– Ну – как?! – Сокрушилин ведет машину, но не смотрит на дорогу, а смотрит на меня, открыв рот, и ждет ответа.

Я смотрю на него внимательно, очень внимательно – может, он сумасшедший? Но и я, конечно, в идиотском положении...

– Нормально, – говорю я сдержанно, и сдерживаю себя, чтобы не сказать больше. Почему-то мой ответ его страшно радует и веселит.

– Нормально, Григорий! Отлично, Константин! – кри-

чит он и хохочет тем своим дурацким и довольно неприятным хохотом. «Смех без причины – признак дурачины». Ты, Алиска, как всегда, права, но мне от этого не легче. Настроение портится окончательно. Нет, я не ищу во всем логику. Я никогда не пытался знать все и все понимать, но хотя бы что-то знать, хоть немного понимать в этой, мягко сказать, необычной ситуации я имею право? Да, я не знаю, что натворил Гера. Я не знаю, почему Сокрушилин колесит по Москве. Я не знаю, чего ждет Сокрушилин, и не знаю, кто молчит... Но могу я знать, что означает *сия* дурацкая заметка?! Постой, а что если это намек? Ведь он не так прост, этот Сокрушилин. Ты видел, как он оставил в дураках беднягу Захарика? На что-то он намекает... Где ключ, где зацепка, где собака зарыта? Ой, а эту улицу я знаю! Помню... Тут раньше была маленькая комиссионка, в которой я однажды купил Женьке французские духи. Они назывались «Diorissimo» и стоили восемьдесят рублей – тогда это были большие деньги.

– Кому же такая роскошь? – спросила продавщица и прибавила, как бы извиняясь: – Если не секрет...

– Не секрет, – сказал я и ответил: – Жене.

– Любите же вы свою жену, – сказала продавщица.

Даже жалко ее стало – так она это сказала... И если бы еще деньги, я бы наверняка купил еще один флакон и подарил бы его той милой женщине. Но денег больше не было, да и духов таких тоже, это же была комиссионка – кто-

то привез из-за границы и сдал. А деньги одолжил мне Гера. Он жил тогда в Доме аспиранта, сокращенно – ДАС, но в тот день я придумал этой аббревиатуре другую расшифровку: ДАС – День Абсолютного Счастья. И это действительно был день абсолютного счастья! Не помню ни число, ни месяц, ни год, но помню тот день в мельчайших подробностях. Я тогда очень любил Женьку! А Алиски не было еще даже в проекте... То есть была, еще как была, – именно в проекте, но почему-то никак не хотела получаться... А та моя комиссионка теперь, оказывается, называется «Siemens – Bosh». Ну что ж, Siemens так Siemens, Bosh так Bosh... В тот день Женька сказала слова, сделавшие меня абсолютно счастливым: «Кажется, я наконец залетела». ДАС – День Абсолютного Счастья.

А мой Хворостовский между тем припарковался, напрочь перегородив тротуар, из-за чего бедным пешеходам придется обходить «Hummel» по грязной и небезопасной проезжей части. Разумеется, это его нисколько не волнует, он птица высокого полета, что значат для него какие-то жалкие пешеходы? (А кого-то он мне еще напоминает, не только Хворостовского...) Он распахивает передо мной дверь и, *шутовски* улыбаясь, предупреждает вдруг:

– Шаг влево, шаг вправо – стреляю без предупреждения.

Шутит или смеется? То есть, ха-ха, шутит или всерьез? Горло болит... Фарингосепт.

На вывеске рядом с небольшой дверью среди десятка ка-

зенных незапоминающихся слов я успеваю прочесть главное: «Прокуратура».

Прокуратура и прокуратор (Иудеи) – слова, несомненно, одного корня, но почему-то эта мысль не приходила раньше в голову. Может, чтобы это понять, надо туда попасть? Однако сделать это не так просто... Нас не пускают. (Снова не пускают!) Точнее – пускают, но не дают ключ от кабинета Писигина. Сначала все происходящее меня веселит, а потом начинает злить. (Кстати, а почему это у моего Сокрушилина нет своего кабинета? «Hummer» есть, мобильник есть, пистолет под мышкой есть, а кабинета нет?) Ладно, потом узнаю, а сейчас: пустите меня в кабинет Писигина! Мент мнетя, кривится, мямлит что-то невразумительное, и я начинаю его ненавидеть. (Наверное, это уже синдром заложника.) Сокрушилин разговаривает по мобильному и одновременно протягивает за ключом руку.

– Ну что вы на меня наезжаете? – жалобно тянет мент.

«Наезжаете»... Уголовная лексика стала лексикой правоохранительных органов. Абсурдистан. Как, кстати, зовут того славного паренька, с которым познакомился в обезьяннике КПЗ? Кущеватов? Сущеватов? Нет, нет... Я не успеваю вспомнить, потому что вновь слышу ту фразу.

– Жду. Молчит, – говорит Сокрушилин в трубку и с какой-то загадочной укоризной смотрит на меня.

А ты знаешь, он вновь побеждает: мент все-таки выдает ключ, и вот мы премся пешком на четвертый этаж. Сокру-

шилин *ломит*, как буденновский конь, я едва за ним поспеваю. Фу-у... Кабинет Писигина – это вам не кабинет Захарика: здесь прошел евроремонт. (Ненавижу, кстати, это слово: какое-то оно корявое... Корявое и унижительное! А в результате та же безликость и казенщина, царящая во всех наших официальных кабинетах.)

– Садись, – предлагает Сокрушилин, вновь забыв о своем обещании «выкатать», но мне не хочется больше об этом напоминать, надоело. Что ж, будем на ты! На экране компьютера застыла картинка из «покера». Ну разумеется, чем здесь, в прокуратуре, еще заниматься, когда на улицах гремят выстрелы и взрывы... Я пытаюсь устроиться поудобнее в неудобном кресле и никак не могу это сделать. А мой Сокрушилин между тем активно что-то ищет: распахивает дверцы шкафов, ворошит лежащие на столах бумаги... Кого же он мне еще напоминает? Шуру Балаганова? Тот так же искал деньги в квартире Корейко. Смотрит на старый советский сейф и чешет в задумчивости затылок. (Ты бы сказал – репу). Как там у классиков? «На широком невспаханном лбу Шуры прорезалась первая борозда»? Пожалуй, я прав – Шура Балаганов. А еще мне нравится у Ильфа с Петровым, кажется, это уже в «Золотом теленке», там ко всяким дурацким объявлениям добавлялись еще более дурацкие приложения. А в одном последнем: «Приложения: без приложений». «Приложения: без приложений» – Гера любит часто так свои послания заканчивать... Сокрушилин меж тем вытаскивает из

кармана связку ключей и выбирает подходящий. Первый не подходит, второй... Мы берем кассу! Но денег там, кажется, нет, а есть толстая *папка*. «Дело»? Ну конечно, что же еще, это ведь прокуратура, а не консерватория. Листает, читает, снова листает... Ищет какую-то информацию? Меня нет, меня для него сейчас нет. Нашел? Да, кажется, нашел... Но что он делает, что он делает, товарищи? Он выдирает из «Дела» несколько листов, после чего достает из кармана золотую (!) зажигалку, щелкает и, держа в руке горящую исписанную бумагу, смотрит на огонь – сосредоточенно и печально. Когда пламя касается его пальцев, Сокрушилин испуганно вздрагивает, болезненно морщится и выбрасывает горящий клочок бумаги в форточку. Нет, это уже не Шура, это уже сам Остап Бендер. Остап-бей Сулейман Мария или как его там? «Приложение: без приложений». Я смотрю на этого человека и думаю о том, что долго, ох как долго придется еще ждать, пока Россия станет нормальной цивилизованной страной. Вот оно – наше сегодняшнее реальное правосудие! А ночь сегодня у тебя была бессонная, вон какие круги под глазами. А на воротничке сорочки – след от губной помады. Ну да, вы же вчера День милиции отмечали. Где-нибудь в «Метрополе», в Боярском зале, Гера рассказывал, какая там роскошь. А рядом была длинноволосая девушка с ногами, растущими из шеи, и с маленькой куриной головкой. (И с соответствующим количеством мозгов!) Откуда только они взялись: безмозглые, бессловесные, бездуш-

ные? Где молодые Татьяны Доронины? Нет, сейчас не Тани, сейчас – Иры... Это в том же «Молодежнике» в рубрике «Досуг» я прочитал как-то объявление следующего содержания: «Иры». И всё! «Иры»! И номер телефона. Ее тоже звали Ира? А потом был роскошный номер в «Метрополе» за казенный, разумеется, счет... А утром: «Наша служба и опасна и трудна»! А ведь я понял наконец, на кого он похож в действительности, да и не просто похож, а является таковым по самой своей сути... Хлестаков! Вечный российский тип. Хлестаков ты мой, Хлестаков... Наконец-то я все понял! Абсолютно все! ВЗЯТКА! (А в том, что он взяточник, нет никакого сомнения. Откуда у простого советского следователя «Hummer»? И часы за восемь тысяч долларов? Может, как Чубайс, лекции читал – неведомо где, неизвестно кому?) Поэтому и брали меня – как чеченского террориста, чтобы шокировать, оглушить, подавить. А телевидение для того, чтобы показать свою безграничную власть, мол, мы везде, мы все можем и если что – вымажем дегтем, ославим на весь белый свет. Но так как «Дела» как такового нет, меня кинули в банальный милицейский «обезьянник», а не поместили в тюрьму, потому что тюрьма – это уже серьезно, там своя канцелярия, свои законы. И допрашивать меня в своем кабинете он не может, потому что боится засветиться. «Жду, молчит, жду, молчит...» Так это же я, я молчу! (Вот почему он так выразительно на меня посмотрел, когда произносил последний раз эту фразу.) А он ждет, когда я сам взятку

ему предложу, и это принципиально важно, я где-то читал, принципиально важно, потому что тогда он будет чист перед законом. А по городу колесил, потому что проверял – нет ли хвоста, боялся слежки, у них там тоже один другого подсиживает, да есть к тому же служба собственной безопасности – специально для этой цели. Нет, ты понял? А «От 5 до 10» – это уже совсем просто! Просто, как всё гениальное! Это сумма, сумма взятки. Не больше десяти. Но и не меньше пяти. Тысяч. Долларов, разумеется. Как говорится – торг уместен. Мол, заплатишь, и мы твое «Дело» уничтожим, вырвем нужные листочки... И сожжем! Так ты понял? Понял, с кем мы имеем дело? Хлестаков ты мой, Хлестаков!

– Почему вы все время улыбаетесь?

В его голосе слышится уязвленное самолюбие. А ведь я в самую точку попал! Типично хлестаковская черта – страх выглядеть смешным. И сразу, заметь, перешел на «вы»!

– А почему бы мне не улыбаться?

В самом деле – почему бы мне не улыбаться, когда я, наконец, все понял! Когда вижу тебя, голубчика, насквозь! Усмехается... Ну, усмехайся, усмехайся. Прячет глаза... Не спрячешь! Бросает «Дело» на подоконник. (Точно таким же движением он бросил «Playboy» на заднее сиденье «Hammer'a». Тебе, конечно, все равно, что судьба человека, что «Ни дня без оргазма».)

– А ведь ты попал... Ты даже не представляешь, как ты попал!

Ой-ой-ой! Меня пугают, а мне не страшно. (Тебя пугают, а ты, старик, об этом даже не догадываешься!) Что, Хлестаков, занервничал? Ждешь, когда я сам? Когда сам взятку тебе предложу? Не дождешься! Каким угрожающим шагом, какой свинцовой поступью он направляется ко мне... Шаги командора! Садится за стол напротив, буравит взглядом. Ну, говори же! Говори – сколько: пять, шесть, восемь? Или все десять? По максимуму? Говори! («Говори!» – пьеса была такая, перестроечная, наивная, если из сегодняшнего дня смотреть, но все равно свою положительную роль она сыграла.)

– Где вы были и что делали пятого апреля сего года?

Неожиданный вопрос. И странный... Очень странный.

– Что?.. Где я был когда? Что делал когда?

– Пятого апреля сего года.

«Сего года»... Нет, мне нравится: СЕГО года... Не имею ни малейшего понятия, где я был пятого апреля сего года! У меня память так устроена. Я бы не назвал свою память на даты плохой, она не плохая, ее просто нет! (Причем не было никогда.) Мозги, видно, у меня такие, и ничего с этим не поделаешь: помню – что, но не помню – когда. Вот, например, я прекрасно помню, что было вчера – меня брали, но совершенно не помню, какое вчера было число... Впрочем, в данном случае я как раз помню, вчера был День милиции, десятое ноября, но это исключение из правила, редкое, можно сказать – редчайшее исключение.

– Я не помню...

(...и не вспомню никогда!)

– Вспомнишь!

Улыбается, а глаза недобрые. Да не боюсь я тебя, Сокрушин, не боюсь! Лично мне тут бояться нечего, а Геру вообще не так просто испугать. Что он делал пятого апреля сего года? Откуда же я знаю, что он делал пятого апреля сего года?

– А если не вспомню?

– Обязательно вспомнишь. Это я тебе обещаю.

Нет, это даже смешно!

– Ну хорошо... Если вы называете конкретную дату, значит, в этот день что-то случилось? Что-то такое случилось? Что?

Он смотрит на меня насмешливым взглядом, решая: говорить или не говорить?

– А ты не знаешь?

– Не знаю.

– Узнаешь, не торопись... Много будешь знать... – говорит он, усмехаясь и отворачиваясь.

Скоро состарюсь? А старости-то я и подавно не боюсь! Мне нравится в стариках их спокойствие, отсутствие бессмысленных страстей и, как это ни покажется странным, уверенность в завтрашнем дне. Могу сказать больше – иногда я завидую старикам! Только и слышу – на улице, в метро, в магазине: «Молодой человек!» Или того хуже: «Паренек!» И

уже совсем ни в какие ворота не лезет: «Мальчик!» Ну какой я, на фиг, мальчик, если на меня уже полтинник накатывает! Нет, я не заставляю себя уважать, уважать меня как раз не за что, но это несправедливо, в конце концов, по отношению к моим близким: когда иду с Женькой – думают, что я ее сын, когда с мамой – внук, а когда с Алиской – вообще чёрт знает что думают! Алиска, кстати, недавно говорит: «Я тебя со спины с Аркашкой Астраханцевым спутала». Каково мне это слышать, если этот Астраханцев – ее одноклассник и последняя любовь? Женька иногда надо мной подтрунивает: «Папа у нас моложавый», но я же вижу, что ей обидно, она – женщина и должна выглядеть моложе своего мужа. И вот – все вокруг худеют, а я толстею... То есть все вокруг пытаются худеть, а я – толстеть, чтобы выглядеть старше. Бесполезно! С трудом, преодолевая отвращение, я ежедневно выпивал перед сном сырое яйцо, разболтанное в стакане теплого пива с ложкой сахара и двумя ложками сметаны, – рецепт дала Мира, авангард прогресса в нашей семье, Женькина подруга, работающая кем-то в Доме кино. Спустя пару-тройку месяцев я действительно начал поправляться, но не так, как хотелось: у меня стал расти похожий на куриное яичко животик, прохожие поглядывали удивленно, видно в этом было что-то противоестественное. И когда Женька в сердцах обозвала меня беременным мальчиком, я с радостью прекратил употребление тошнотворного пойла и, что интересно, вернулся в свое обычное состояние чуть ли не на следующий

день. Не сумев изменить свой вес, я решил изменить имидж – прибегнуть к помощи очков, хотя со стороны зрения никаких показаний к ним не было. Купив в метро недорогие без диоптрий очки, я принес их домой, надел, посмотрел в зеркало – крокодил. Хотя, когда примерял в метро, мне так не казалось, да и продавщица одобрила. Потом в комнату вошла Женька и усилила сравнение: «Вылитый крокодил!» Видимо, услышав, из своей комнаты прибежала Алиска и, коротко взглянув на меня, добавила: «Гена» – пожалела. Да это не беда, что крокодил, беда состояла в том, что крокодил оставался молодым, юным, это был *зеленый* крокодил! Мною предпринималась также попытка отращивания и ношения бороды, и тоже безуспешная: Хо Ши Мин, вылитый Хо Ши Мин. Да и с ростом проблемы... То есть, с одной стороны, никаких проблем: сто семьдесят – вполне средний рост, а когда кто-то смотрит на меня совсем уж свысока, я вспоминаю Пушкина и становится легче – его сто шестьдесят пять успокаивают меня и возвышают, однако Женькины метр восемьдесят четыре значительно усложняют ситуацию, и тут я просто не могу не чувствовать своей вины. Да это бы ладно – внешность, фиг с ней, с внешностью, внутренность остается та же – инфантильная, детская, глупая, и не надо меня убеждать в обратном, я-то знаю, что это так! Взять хотя бы мою многолетнюю мечту о ножичке... А ножичек?

– А НОЖИЧЕК? – В самом деле, как я мог о нем забыть?

– Какой ножичек? – удивленно спрашивает Сокрушилин.

– У меня вчера отобрали ножичек. Где он?

– Какой ножичек?

– «Victorinox», швейцарский!

Сокрушилин смотрит на меня удивленно и озадаченно, опускает руку в карман пиджака и вытаскивает оттуда... «Victorinox»! Но не мой, конечно, мой раза в два тоньше: в моем только два лезвия, шильце и отвертка, а в этом чего только нет, лупа даже... Я видел такие, они дорогие страшно.

– Такой? – спрашивает Сокрушилин.

– Почти, – отвечаю я гордо и независимо.

– Где покупал?

– В ГУМе, – отвечаю я по-прежнему гордо, хотя и начинаю злиться – не могу же, в самом деле, сказать, что нигде я его не покупал, что подарила мне его Даша!

Сокрушилин усмехается.

– В этой стране нет настоящих швейцарских ножей. Настоящие швейцарские ножи есть только в Швейцарии. Я купил его в Женеве. Нравится?

Нравится, конечно. Только мой все равно лучше.

– А хочешь, я его тебе подарю? – неожиданно спрашивает он и протягивает нож мне. А сам заглядывает в глаза, чуть ли не в душу пытается заглянуть.

Нет, брат, туда я тебя не пущу! А если и пущу, что ты там поймешь, американец?! Разве ты, уверенный в том, что можно купить всё и вся, знаешь, что такое мечта? Как я мечтал – как он будет лежать у меня в кармане, тяжелень-

кий такой, гладенький, пристегнутый к поясу специальной цепочкой? Как в каждом свежем номере «Огонька» я первым делом прочитывал очень оригинальную рекламу ножей «Victorinox»: небольшие и очень интересные истории о том, как эти ножи в самый нужный момент оказывались вдруг под рукой и спасали людей – на пожаре, в остановившемся лифте, при землетрясении? Конечно, вряд ли я купил бы его сам, потому что дороговато, да и Женька бы не поняла, сказала бы: «Совсем впал в детство», но я – мечтал, и этого мне было достаточно. И вдруг однажды, прихожу к Даше, а она просто так, безо всякого повода – протягивает его мне. А ведь я ничего ей о своей мечте не говорил и даже не намекал! Мистика! Да уберите вы ваш нож, господин Сокрушилин, не нужен мне ваш нож! Но без своего я отсюда не уйду... А он смотрит на меня, улыбается и, подцепив ногтем, вынимает большое лезвие, блестящее и острое. Острое, очень острое, я уже несколько раз порезался – зазеваешься, отвлечешься, и вот – кровь, причем еще до боли, ты еще боли не почувствовал, а уже кровь, откуда она, недоумеваешь – как бритва, острый.

– Острый, – говорит Сокрушилин. (Эта его улыбка начинает меня раздражать.)

– Я знаю...

– Острый, – повторяет свою *мысль* Сокрушилин и вдруг хватает меня за ладонь и, с силой придавив ее к столу, представляет холодное лезвие к моему обнаженному запястью. Я не понимаю! Ах вот оно что! Я внимательно смотрю на

Сокрушила: передо мной аффектированная личность, типичная аффектированная личность. (Я хоть и ветеринарный, но все-таки врач и кое-что в психологии понимаю, книгу «Психология личности» два раза прочитал.) Да тут и не нужна никакая психология, тут любой дурак поймет, что личность аффектированная... Значит, так, не надо напрягаться, не надо тянуть руку к себе, не надо бояться. А я боюсь? Да ничего он мне не сделает! А если и сделает – кровь здесь венозная, это не так опасно. Вид крови мгновенно приведет его в чувство, и он сам кинется меня перевязывать. Но надо улыбнуться, надо обязательно улыбнуться! УЛЫБАЮСЬ...

А Сокрушилин неожиданно отпускает мою руку и приставляет лезвие ножа к своему собственному запястью.

– А может, так? Так лучше?

Аффектированная личность, отягощенная суицидальным синдромом? Вон у него там шрамы... Резал уже не раз?

А он вновь хватает меня за руку, которую я так непредусмотрительно оставил лежать на столе и вновь приставляет к ней лезвие, уже не такое холодное – согрелось.

– Выбирай: тебя или меня?

А об этом в «Психологии личности» не было написано... Психологический тест такой? Или следственный прием? Ничего себе прием! Приемчик...

Выбирай!

Хорошо. Тогда меня. Лучше меня, потому что я быстро себя перевяжу, а спросят – кто, скажу – сам, потому что все

равно не поверят, если скажу – он, так что, конечно, лучше меня.

– Меня!

Только не сильно... Не очень, то есть, глубоко. Не до кости. Там важные сухожилия, их сшивать придется... Я зажмуриваю глаза, верней они сами зажмуриваются. А он отпускает вдруг мою руку, резко поднимается, подходит к окну и смотрит вниз.

А в коридоре за дверью – шаги... Громкие... Как будто кто стучит по полу большой деревянной колотушкой: ТУК! ТУК! ТУК! Дверь приоткрывается, и, до половины туловища, в кабинет всовывается человек. Лицо знакомое. Где-то я его видел... Курьер? Точно – курьер. Помнишь, фильм «Курьер», там один московский школьник главную роль исполнял, он потом еще в Израиль эмигрировал: мы как-то ехали с тобой в машине и слышали с ним интервью по «Эху Москвы», он тогда как раз из Израиля приехал, и ты пошутил: «Думали – курьер, а оказалось – еврей», ты вообще часто на эту тему шутишь, я бы даже сказал – слишком часто, так вот, этот молодой человек, пришедший сюда с таким необъяснимым грохотом, всунулся в наш кабинет, то есть не в наш, конечно, а в кабинет Писигина до половины туловища, и громко и отчетливо объявил:

– Ад!

Услышав это слово, Сокрушилин вскочил вдруг на ноги, прямо-таки подпрыгнул, а тот опять:

– Ад!

И, словно по мановению волшебной палочки, Сокрушилин оказался у двери кабинета.

А курьер в третий раз:

– Ад!

И исчез. И Сокрушилин исчез. Курьер исчез. Оба исчезли. Ты можешь мне не верить, но именно так оно все и было, я готов поклясться на «Войне и мире»! Исчез. Но ты что-нибудь понял? Я – нет. Что, собственно, имелось в виду? Какой такой «ад»? Тот самый? Тогда, выходит, мы – в раю? Прокуратура – рай? Скорее – чистилище. – Точно! А курьер с колотушкой, ха-ха, Харон? «К Харонам! Вход всем посторонним»⁹. (Сегодня принято не любить Вознесенского, но я по-прежнему его люблю.) Но ничего не понимаю!

ЕСЛИ ЖИЗНЬ ТВОЯ В ЛОМ, ПОЧИТАЙ ЛУЧШЕ
СТОМ!

Вот именно – «в лом», моя – в лом...

АЛЛА РОДИЛА ОТ ФИЛИППА
ПЯТЕРЫХ

Что-что? Не понял, когда ж это они... А-а, понял – собачек так зовут. Алла и Филипп – собачки, болонки... Шутники в этом «Молодежнике» работают.

У ЖЕНЩИНЫ В УХЕ ЖИЛ

⁹ Строка из стихотворения А. Вознесенского «Плач по двум нерожденным поэмам». – *Примеч. авт.*

ТРЕХМЕТРОВЫЙ ЧЕРВЯК

Из Таиланда привезла... Понятно.

Со мной такое бывает, редко, но бывает – когда вдруг наступает предел психологической усталости, и я перестаю понимать происходящее вокруг. Даже «Война и мир» не помогает, то есть нет, помогает, конечно, «Война и мир» всегда помогает, просто в такие минуты не хватает сил удерживать том Толстого в руках. И тогда я беру первую попавшуюся газету и читаю все подряд... «Столичный молодежник» подходит для этой цели идеально, спасибо Сокрушилину. Читаешь, читаешь так, и постепенно голова проясняется, и начинаешь понимать: главное – ничего не понимать. И тогда твой внутренний хаос уравнивается хаосом внешним, хаосом московским, хаосом российским, хаосом мировым. И, удивительное дело, становится легче!

РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ ОПУСКАТЬСЯ

Правительство намерено сдвинуть курс доллара с нынешних 5 898 рублей до 7 150 к концу года.

Что ж, поживем – увидим.

МОСКВИЧИ ПЕРЕХОДЯТ С МЯСА НА КАРТОШКУ

Заменить в своем рационе мясо на картошку вынуждена средняя московская семья. За последний год потребление говядины и телятины сократилось на 15 процентов, животного масла столичные жители стали позволять себе меньше на 12 процентов, яиц в

рационе стало меньше на 10 процентов. Потребление хлебопродуктов сократилось на 7 процентов, молока...

Трудно, да. По себе знаю, что трудно жить. Но можно. Главное – знать, ради чего живешь... Я знаю... А вот интересно, ради чего живет Сокрушилин? И до сих пор не могу понять: испугался я или нет, когда он с ножичком? Определенно – не испугался, хотя и испугался, конечно. Хотя после Ахтубы меня трудно чем-либо испугать... Как там в песне поется: «Мы смерти смотрели в лицо». Или – «в глаза»? Нет, все-таки «в лицо», потому что: «вперед продвигались отряды спартаковцев смелых бойцов». – Это фанаты что ли спартаковские? – Ну да, смелые же... отвязанные... отмороженные... Никогда не понимал смысла футбольного «болезня»! Прав был Аркадий Райкин: «двадцать два бугая»... Нет, в (на) Ахтубе я не испугался, а вот когда первый раз чуть не отправился в «ад» – это когда в детстве мне вырезали в больнице гланды, и у меня ночью открылось горловое кровотечение, тогда действительно испугался... А ведь интересно, между первой ночью – больница, и второй – Ахтуба довольно много общего. Во-первых, и там и там я был одинок. И в (на) Ахтубе, и в детстве. В детстве даже больше. Кажется, во всей моей взрослой жизни я не испытывал одиночества большего, чем то, которое испытывал в детстве, во всем моем бесконечно долгом детстве. И самое страшное одиночество испытал, когда медсестра Рая привела меня в больничную палату, показала на «мою» кровать и оставила

одного. Я помню медсестру Раю – она была большая, полная, с пышными рыжими волосами, которые плохо укладывались в пышную прическу, выбиваясь из нее. Медсестра Рая была в ореоле, нимбе или венце своих золотых волос. Мне не хотелось от нее *отлипнуть* (от страха и одиночества я буквально к ней прилип), но медсестра Рая отлепила меня от себя, толкнула легонько и сказала – мягким медовым голосом: «Вон твоя кровать. Иди и ложись». Палата была огромная, с высоченным потолком. Там стояло кроватей двадцать, и многие из них были заняты. Почему-то никто не обратил на меня внимания... Ну да, палата была взрослая, а разве есть взрослым дело до какого-то сопливого мальчишки? Вот если бы палата была детская, то дети не лежали бы так безразлично, а сбежались бы знакомиться, хвастаться игрушками, делиться сладостями... Здесь же на меня никто не смотрел. Я подошел к «своей» кровати и лег. Сетка громко скрипнула, но спящий на соседней кровати дяденька (Николай Иванович, бывший фронтовик) не проснулся. Я лежал на спине и смотрел в высокий белый потолок, на котором не было ни одной трещинки, наверное, провели ремонт, не *евро*, конечно (и слова такого тогда не было), но трещины на потолке отсутствовали, видимо, недавно ремонт провели... А я любил (да и сейчас люблю) трещины на потолке, потому что, если долго на них смотреть, они превращаются в разные фигурки, становятся рыцарем, собакой, деревом, и тогда уже не так одиноко, но трещин там (как и здесь) совершенно не было, и

за бугор со своей молодой женой. А я отказываюсь не только потому, что заграница меня не очень, в общем-то, интересуется, но и из-за денег, конечно, тоже. Ведь если я куда-нибудь поеду с Герой, тогда никуда не смогут поехать Женька с Алиской, так? Но им-то это гораздо нужней, чем мне, двухмнений тут быть не может: Женька – женщина, Алиска – ребенок, а я все-таки мужчина. А главное – я убежден: один день, проведенный в подмосковном осеннем лесу, равноценен недельному отдыху в Анталии. (А если еще удастся найти парочку белых!)

Но весной прошлого года Гера меня все-таки вытащил. В (на) Ахтубу. Я согласился. Во-первых, потому, что Ахтуба – не заграница, а во-вторых, Гера обманул меня, сказав, что там растут во множестве какие-то особенные «майские» грибы, а я, дурак, поверил. Уже на второй день нашего путешествия я проклинал себя, Геру и всю эту пропахшую рыбой Ахтубу! Хорошо, что ехали мы туда всего на три дня, да плюс два дня дорога – на Герином «Ягуаре» на бешеной скорости. Кстати, только там, в дороге, я узнал, что Ахтуба – это не город, а река в Астраханской области. С географией в школе у меня отношения не складывались, да и во взрослом возрасте географических знаний в моем интеллектуальном багаже прибавилось немного: еще садясь в машину, я был уверен, что Ахтуба – это провинциальный городок, находящийся там же, где и Елабуга, в которой закончила свой жизненный путь великая Марина Цветаева, а оказалась – река,

так что ехал я в, а приехал – на, и с тех пор эти два предлога в сочетании с названием Ахтуба существуют в моем сознании одновременно.

На протяжении всех трех дней Гера не спал ни минуты: днем он ловил в каких-то промышленных количествах рыбу, а по ночам пил пугающими дозами водку и рассказывал анекдоты про новых русских, из которых я не запомнил ни одного. Все это мероприятие именовалось *мальчишником*, потому что вскоре должна была состояться Герина свадьба. (Очередная.) В Москве его дожидалась невеста – Катя, милейшее создание, непорочное дитя, не ведавшее, по-моему, ни сколько Гере лет, ни – какая по счету она у него жена. (Если не ошибаюсь – четвертая или пятая?) Мальчишник для Геры – это святое, и сценарий у всех примерно одинаковый: на третий день, а вернее на третью ночь «в расположение нашей части проник условный противник». Как Гера выразился – «из пены морской» (а по мне так из речной тины) появились две развязные особы, имена которых я забыл сразу, как только услышал. Гера сходу назвал их Блэк энд Вайт, действительно, одна была блондинка, другая брюнетка. Рыбалку я не люблю, наверное, потому, что не люблю есть рыбу, исповедуя ту простую истину, что лучшая рыба это колбаса, к тому же очень боюсь подавиться костью, наверно, это у меня от мамы, кажется, это единственное, чего она в жизни боится, никакие грибы в камышах, разумеется, не росли, так что на том мальчишнике я тихо зверел, а когда

появились Блэк энд Вайт, озверел окончательно. Даже хотел уехать поездом или улететь самолетом, но Гера давил на жалость, повторяя то и дело о своем прощании со свободой, и я остался. (Меня всегда поражало и продолжает поражать Герино умение убеждать – в том даже, во что он сам не верит. Тебе, старик, не бизнесом заниматься, а политикой. Баллотируйся в Думу!) Но в одном убедить он меня не сумел, и я верю – никогда не сумеет. У моего друга какая-то непонятная страсть или мания, или... не знаю даже, как это назвать, но целенаправленно и изощренно он добивается того, чтобы я изменил Женьке. Многократно, в красках он описывал мне *сладость супружеской измены*, это продолжалось и в (на) Ахтубе, до тех пор пока я прямо не спросил: «Так ты женишься для того, чтобы вновь испытать эту сладость?» Гера расхохотался и послал меня к чёрту, назвав вдобавок лишенцем, он любит это словечко из лексикона Остапа Бендера. Да, это случилось на третий день, или, точнее, на третью ночь, но спросите, какое было число, какого месяца – убейте меня – не вспомню, разве только год, прошлый, тысяча девятьсот девяносто шестой, хотя, впрочем, была весна, май (грибы-то «майские»!), а вот год, возможно, и не прошлый, а как раз позапрошлый, хотя год можно и уточнить, но только не число, оно безвозвратно утеряно для истории, хотя, казалось бы, я должен, обязан помнить то число, потому что оно едва не стало *датой*... Датой моей смерти. (Это к вопросу о том, где я был и что делал пятого апреля сего года. Нашли, у

кого спрашивать. Вот если бы Геру спросить, когда я чуть не утонул, то он назвал бы не только число, но и день недели. Память на даты у моего друга просто феноменальная.)

Итак, Гера сварил уху, целое ведро – по какому-то особому «монастырскому» рецепту, когда рыбу кладут в бульон от сваренного петуха (именно петуха, а не курицы), а перед тем как снять уху с огня, в нее вливается стакан мадеры – получилось действительно вкусно, мы хлебали ее, сидя на прогретой за день земле на берегу одного из бесчисленных речных протоков, среди шуршащего от теплого ветра камыша, под ночным небом, которое назвать ночным можно с большой натяжкой, потому что ночного, черного там практически не оставалось: звезды набились почти впритык, никогда в жизни я не видел такого звездного неба, это было какое-то звездное безумие, нельзя было различить ни одного знакомого созвездия, ни о какой Большой Медведице не могло идти и речи, нет – никогда в жизни я не видел такого звездного неба! И все бы хорошо, если бы не одна маленькая деталь, точнее, не одна, а две: Блэк энд Вайт... (И не такие, кстати, маленькие, особенно «моя» Вайт, она была даже больше моей Женьки.) Положение усугублялось еще и тем, что Вайт мне, вообще-то, нравилась. Гере хорошо известны мои, так сказать, типологические пристрастия – она отдаленно напоминала молодую Татьяну Доронину. Девушка старалась всю: бросала томные взгляды, то и дело дотрагивалась до моей руки и без конца подливала в мой стакан вино, считая,

видимо, что пьяный я буду сговорчивей. Тут Гера допустил оплошность, забыв рассказать ей об одном моем странном, на первый взгляд, качестве – чем больше я пью, тем больше укрепляюсь в своем первоначально принятом решении. Я напивался и мрачно просчитывал пути отхода, предполагая уйти незаметно, по-английски, не прощаясь, но, когда девушки решили устроить «знаменитый астраханский стриптиз», я решительно поднялся и, сказав, что хочу искупаться ОДИН, направился к воде. Зная мой характер, Гера даже не попыталась меня остановить, бросив насмешливо, но довольно зло: «Станешь тонуть – не зови». «И не подумаю», – буркнул я (а ведь звал потом, звал!) «Утонешь – не жалуйся!» – прокричала Вайт и засмеялась, а следом и Блэк, и Гера тоже засмеялся, и под их общий смех я вошел в воду. Наша турбаза (турбаза как турбаза, а по ценам – пятизвездочный отель, любят у нас три шкуры драть, не имея на то никаких оснований, как Гера говорит: «В этой стране все хотят хорошо жить, ни черта для этого не делая»), так вот, наша турбаза располагалась ниже по течению, и я решил добраться до нее по воде – *сплавиться*. Я лег на спину, течение медленно повлекло меня, и, не прилагая ни малейших усилий, я стал перемещаться из пункта Б в пункт А. В воде я чувствую себя, как рыба, мама научила меня плавать еще в дошкольном возрасте классическим приемом – жарким летним днем в Серебряном Бору бросила с лодки в воду, и, немного побарахтавшись, я поплыл. Если бы она тогда этого не сделала,

я и сейчас, наверное, не умел бы плавать. Вода была теплая, она расслабляла и усыпляла. Я лежал на спине, полужакрыл глаза, и вспоминал вслух любимые строчки:

Я ждал тебя в Серебряном Бору,
Полумальчишка и полумужчина...¹⁰

По правде сказать, никогда и никого я там не ждал, но после того, как впервые прочел то замечательное стихотворение, всегда этого хотелось... Наверное, я все-таки заснул, хотя до сих пор не представляю, как это возможно – заснуть в воде? Но, значит, все-таки заснул... А потом проснулся... Перевернулся на живот, посмотрел по сторонам, прислушался... Нигде не было ни огонька... Тишина стояла абсолютная... – Мертвая. – Что? – Мертвая тишина. – Да-да, мертвая, вот именно, мертвая, только время от времени с разных сторон доносились неприятные чмокающие звуки. Когда я впервые их услышал, они мне очень не понравились, и я спросил у Геры: «Гера, что это?» – а он ответил, спокойно и невозмутимо, как он это умеет: «Сомы утопленников объедают». И я поверил! Сколько раз попадался на эту его интонацию и снова... «Здесь часто тонут?» – спросил я, видимо, дрогнувшим голосом, хотя раньше никогда не боялся утонуть. (Теперь боюсь.) Гера засмеялся и дал правильное объяснение: «Сазаны камыш сосут». «Сазаны камыш сосут», –

¹⁰ Из стихотворения Евг. Евтушенко. – *Примеч. авт.*

подумал я, вслушиваясь, но и про сомов тоже вспомнил. И понял – заблудился, я заблудился, меня куда-то *занесло*... Кругом была вода, вода... Хотя не испугался! Не испугался, потому что прекрасно понимал: Ахтуба – не мировой океан, и, если плыть строго в одну сторону, обязательно и непременно достигнешь берега. Оставалось выбрать направление движения, но это оказалось непросто, так как по сторонам не обнаруживались никакие видимые ориентиры, а ориентироваться по звездам не было возможности, по тем, повторяю, звездам... Я все же попытался отыскать вверху какое-нибудь созвездие и вдруг наткнулся взглядом на ползущий спутник, один вид которого прибавил оптимизма – цивилизация! – и он же подсказал мне направление движения. Где-то я читал, что все без исключения спутники, в целях экономии топлива, движутся вокруг Земли по ходу ее вращения¹¹. И я пошел за ним. Это была первая моя ошибка. Всего я совершил три ошибки, именно три, я неоднократно потом ту ситуацию анализировал, и именно с первой ошибки все началось. Мой путеводный спутник скоро исчез, растворившись в мириаде звезд, и я продолжил движение один, стараясь не сбиться с курса. И, разумеется, сбился! Я был уверен, что плыву прямо, но на самом деле заворачивал на круг – срабатывал так называемый эффект правой руки, которая, как известно, сильнее – пловец всегда уходит вправо, я же уходил влево, потому что у меня сильнее левая рука, я – левша (как ни ста-

¹¹ Чепуха. Я проверял: летят в разные стороны. – *Примеч. авт.*

ралась мама, ей так и не удалось сделать из меня «*правильного* человека», это, пожалуй, ее единственная неудача в моем воспитании, да и то – неудача относительная: когда я дома, то есть когда прихожу к маме в гости, я держу ложку в правой руке, причем это само собой получается, во всех других местах я, правда, ем левой), но тогда я об этом не думал и все больше и больше удалялся влево. Я плыл долго и упорно, пока силы меня практически не оставили, и, когда они меня практически оставили, я совершил вторую ошибку, которую по статистике совершают восемьдесят пять процентов утопленников, то есть, ха-ха, не утопленников, конечно, а утопающих – я запаниковал. Запаниковал и закричал. Нет, кричал я правильно, надо было кричать, но не паникуя, а я запаниковал, и все это – крики вкупе с паникой отняли у меня последние силы. И, наконец, третья ошибка, последняя и главная, которая чуть не стала роковой: **Я ПОСМОТРЕЛ НА ЧАСЫ**. Не в том смысле посмотрел – сколько тут у нас натикало? – а в том, что наткнулся взглядом на светящийся циферблат своего водонепроницаемого «*Rollex'a*» и увидел – четыре, и понял, – всё... Нет, я знаю, что это бзик, фобия, хронофобия, но не боязнь времени вообще, а боязнь одного конкретного часа – именно четырех часов утра, я понимал это раньше, понимаю и теперь, но в тот момент я, конечно, ничего уже не понимал: видел на часах – **ЧЕТЫРЕ**, и – ужас! (Здесь просто необходимо отступление, хотя далеко не лирическое. Дело в том, что, когда в детстве я лежал в боль-

нице по поводу операции по удалению гланд, однажды ночью у меня открылось горловое кровотечение, и, боясь потревожить спящих, стесняясь, я лежал неподвижно и глотал собственную кровь, пока меня не стошнило кровью же, и я уже не мог больше ее глотать, а она все шла и шла, выползая изо рта на подбородок и грудь, напитывая подушку и простыню, а я все лежал, стесняясь и понимая, что умираю, а на соседней койке храпел Николай Иванович, бывший фронтовик, не старый еще, как все бывшие фронтовики тогда, а на его руке тикали часы, которые он снял с убитого им немецкого унтер-офицера, я посмотрел – на них было ровно четыре (с того самого момента моя хронофобия и началась.) Нет, когда все нормально, в порядке, я ничего не замечаю, но если вдруг наступает предел психологической усталости, эти четыре часа утра начинают меня преследовать. Просыпаешься среди ночи от боли в сердце или от какого-нибудь кошмара, бросаешь ошалелый взгляд на часы, а там – четыре! (А однажды мама, когда я уже был взрослым, сообщила, что родила меня ровно в четыре утра, и ее сообщение как бы подтвердило мои самые худшие опасения...) Вот и тогда в (на) Ахтубе, я посмотрел на часы – четыре, и понял, все сразу понял... И, как говорится, пошел ко дну, хотя, как я теперь знаю, неправильно говорится, туда не идешь, а опускаешься, довольно медленно и довольно плавно, глотая по пути воду, как в детстве кровь. Неожиданно это движение вниз замедлилось, остановилось, и, не достигнув дна, я на-

чал вдруг подниматься, видимо, масса воды еще влияла на массу моего тела, на мгновение я оказался наверху, но, не успев глотнуть воздуха, снова стал опускаться... А страха не было, нет, страха совершенно не было, как, впрочем, не было и никакого света в конце тоннеля, никакой «жизни после смерти», никаких светящихся человечков, только темнота и тишина – МЕРТВАЯ... Но это было уже потом, в конце, в самом конце, а до того случилось нечто совершенно неожиданное, что спустя какое-то время я назвал коротким и легкомысленным словом *кино*... И вот – я опускался ко дну и поднимался наверх, как пустая бутылка, или, нет, не пустая – полная – наполовину, на две трети, на три четверти, когда еще немного, еще чуть-чуть и окончательно и бесповоротно она пойдет ко дну – поднимался и опускался, поднимался и опускался, поднимался и опускался: и ра-аз, и два-а, и три-и-и, и четы-ыре... Именно тогда мне его и показали – кино. Мое кино. Хотя сначала я ничего не увидел, увидел же только в конце, когда опускался в последний и окончательный третий раз, во второй услышал, а в третий почувствовал – то, что случилось однажды именно в кино, на детском киносеансе с Алиской (видимо, поэтому я и назвал все произошедшее со мной этим коротким и легкомысленным словом), – почувствовал на своей щеке стыдную и жгучую боль, которую, думал, совершенно забыл, а оказалось, помнил, и еще как помнил, это и было – раз; а два – я услышал... услышал те самые слова, которые однажды ночью во сне произ-

несла Женька, причем так услышал, как будто Женька в тот момент находилась рядом и повторила мне их в самое ухо; а в третий раз я увидел бегущую в сторону открытой книги СЭВа¹² маму... Как в кино, да... Но я и сейчас думаю, и тогда понимал – это жестоко и несправедливо, это чистой воды произвол – в такой ответственный момент жизни, когда надо вспоминать все прекрасное и светлое, заставлять человека смотреть, хуже того – пересматривать самое из его жизни болезненное, горькое, стыдное, – понимал, но не возмутился, хотя, если подумать, на кого возмущаться, кто режиссер этого фильма и кто киномеханик, который его крутит в самый неподходящий момент? Если можно так выразиться, я просто махнул рукой: если так, подумал я, если это именно так, то тогда все равно...

Когда мы возвращались на следующий день в Москву, где-то уже к концу пути, я рассказал все Гере – просто не мог это в себе удержать. Точнее, не все, про кино я не стал рассказывать, а только то, что чуть не утонул. Признаться, я думал, что, услышав это, Гера остановит машину, обхватит руками голову и будет сидеть так – друг чуть не утонул, но он рассмеялся и прибавил скорость, словом – поднял меня на смех, сказав, что в тех местах утонуть невозможно, потому что там на одном квадратном метре сидят по три рыбака, и,

¹² Здесь имеется в виду похожее на книгу здание бывшего СЭВа, в котором в 1993 году находилась противостоящая мятежному Верховному Совету мэрия Москвы. – *Примеч. авт.*

в общем-то, Гера был недалеко от истины – рыбаки меня и спасли, вытащили, откачали и даже отвезли на турбазу, так что когда утром Гера вернулся в номер – злой и деловитый, каким он всегда после интимного общения с женщиной бывает, я лежал в своей кроватке и спал, а, по правде, делал вид, что спал. Но я даже рад, что Гера поднял меня на смех, подверг иронии мою *драму на рыбалке*, благодаря ему я сам стал смотреть на происшествие с иронией и сейчас вспоминаю об этом с улыбкой. Вот только четыре часа иногда *всплывают*. Сколько, кстати, у нас натикало? А впрочем, какая разница... Гад отправился в ад и возвращаться не торопится... Несомненно, Сокрушилин – гад, ну а ты, Золоторотов, кто ты? Как говорит Алиска, на себя посмотри! Посмотрел и что увидел? Гад! Гад и сволочь! (И еще скотина и свинья впридачу!) Трагическим воспоминаниям предался, разнюнился... Твой друг по лезвию ножа где-то ходит, домашние с ног сбились, голову потеряли, не знают уже, что и думать, а ты? Вот же стоят два телефона, целых два – бери трубку, набирай номер и... Ну, один аппарат, допустим, для внутренней связи, номер на нем написан коротенький, всего из трех цифр: 3-68, а на другом-то номер городской! 200-...-... Подними трубку – и! И я поднимаю трубку и замираю, вновь почувствовав на себе знакомый гипнотический взгляд... **КРАСНЫЙ КВАДРАТ!** Ай да Сокрушилин, ай да сукин сын! Полковника Захарика, как мальчишку, на этот простой приемчик поймал, а теперь, значит, решил меня? Врешь, не возь-

мешь! Ты, Сокрушилин, конечно, не прост, но и мы тоже не лыком шиты! Что ж, звонить не будем, а, пока есть время, все обдумаем, взвесим и проанализируем – что нам делать... – И кто виноват! – Не ерничай! Конечно, если бы я знал, где был Гера пятого апреля – где был и что делал – мне было бы легче выстраивать тактику и стратегию своего поведения... Гера, Гера, сказать по правде, мне давно не нравится, как ты живешь. Окружил себя ореолом таинственности. Тоже мне граф Монте-Кристо... «Пригони “эсэра” на Гагаринскую площадь, припаркуй около железного истукана и уходи». (Да, насчет “эсэра” не волнуйся, он стоит около отделения милиции, где я провел эту ночь, надо будет только узнать, что это за отделение милиции.) «Пригони “эсэра” на Гагаринскую площадь, припаркуй около железного истукана и уходи. Мне это очень нужно». А мне? Ты спросил, нужно ли это мне? Женька так прямо и говорит: «Зачем тебе это нужно?» – «Затем, что Гера – мой друг». Да там и парковки-то нет – возле железного истукана! Подарил машину, называется... Женька так прямо и говорит: «Он не тебе, он себе ее подарил. Вместе с бесплатным шофером». Женька, конечно, неправa, но правда, Гер, надоело... А вчера? Мне совершенно никуда не хотелось ехать! Как говорится, в такую погоду собаку на улицу не выпускают. Собаку нельзя, а друга можно? – «Очень нужно, старик. Речь идет об очень важных для меня вещах, о которых я не могу говорить по телефону». – Не можешь? Ну вот и я не могу! А когда вер-

нется Сокрушилин, возьму и все ему расскажу! Все как есть!
(Я, конечно, пошутил, ты понимаешь.)

Второй (продолжение)

...И вот, как только я это подумал – когда Сокрушилин вернется, он взял и вернулся, – предчувствия меня никогда не обманывают. Я взглянул на него и тут же все забыл: всю эту нервотрепку и все свои обиды. Дело в том, что это был уже не тот Сокрушилин, которого я знал, а другой, новый, обновленный, вот именно – обновленный! Хотя внешне он ничуть не изменился. Если не считать гитары в руках. Это была обычная старенькая гитара с наклейками, которые мы в детстве называли переводилками. Переводилки привозили из ГДР служившие там наши солдаты. Я смотрел на Сокрушилина с изумлением. Как я мог назвать его американцем? Никакой он не американец, а наш, простой русский парень, а то, что раньше я про него говорил – «джи ай», «кожаный затылок», – это все, конечно, чепуха, это все наносное, форма, не имеющая ни малейшего отношения к содержанию. Плечи его были опущены, прядь волос упала на лоб, глаза немного печальны, или нет, не печальны, скорее грустны и рассеянны. Как будто он с кем-то прощался... С кем-то или с чем-то... Он поднял на меня глаза и в первое мгновение как будто удивился, не ожидая меня увидеть, забыл, а теперь вспомнил.

– Ты... – проговорил он тихо.

Я немного смутился и молча пожал плечами. (Не мог я, в

самом деле, сказать: «Я».)

– А ведь я с тобой попал, – сообщил он громко, возвращая себе прежние интонации, и, усмехнувшись, прибавил: – Ну и ты тоже... Сам с собой...

Я не понимал смысла сказанного, это имело смысл и значение для него одного. Он ткнул в мою сторону пальцем и проговорил убежденно, в чем, кажется, уговаривал себя недавно у окна:

– Ты! Это ты, ты, ты!

Я еще раз пожал плечами и, чтобы его не разочаровывать, сказал на всякий случай:

– Я...

– А хочешь, я тебе сейчас спою! – совершенно неожиданно, искренне и как-то даже радостно предложил Сокрушин.

От смущения я не смог даже пожать плечами. Никто и никогда мне так не пел. Никто и никогда. А он взял и запел... Подстроил дребезжащую гитару и запел... Старик, что тебе сказать! Давно я не слышал такого пения, а *может статься*, никогда не слышал. Как бы точнее его передать... Голос у него горький... И одновременно сладкий! Это что-то среднее между Александром Розенбаумом и Карелом Готтом. Ты знаешь: я люблю хорошее пение – не концертно-попсовое, оно просто вызывает у меня идиосинкразию, все эти Маши, Кати и Влады, а такое – душевное, когда человек не для кого-то и не для чего-то поет, не ради славы и денег, а просто

потому, что не может не петь. Он пел, поверь мне, замечательно, но главное даже не то, КАК, а то, ЧТО он пел... Думаешь, что-нибудь из Окуджавы или Юлия Кима? Из Визбора или Клячкина? Нет! Это был романс! Я не знаток и не любитель этого, как мама говорит, упадочного искусства, тут я не во всем с ней согласен, но, как и она, романсы не люблю, разве только «Гори, гори, моя звезда» да «В лунном сиянии» – певица поет волшебным таким голоском, большая рыжая красавица, забыл фамилию, не могу вспомнить, все в ней красивое, в той певице: и голос, и внешность, и все! Но и романс не-обыкновенный, слова... Это Лермонтов, я сразу вспомнил то стихотворение, хотя наизусть его не знаю и не знал никогда, там первые строки: «Когда волнуется желтеющая нива...». Жаль, что не могу его сейчас тебе прочитать, но, когда приду домой, первым делом сниму с полки томик Лермонтова и прочту – вслух – и Алиске, и Женьке, и тебе. И Даше. (Но последние слова я запомнил и вряд ли забуду: И В НЕБЕСАХ Я ВИЖУ БОГА.) Но как же ту певицу звали, зовут... Конечно, Сокрушилин не так хорошо, как она, пел, но по-своему тоже очень хорошо, но самое замечательное было не это, а то, как, произнося эти слова, он смотрел вверх, «в небеса» – так, что казалось – видит, и не просто казалось, а складывалось полное впечатление – видит! Это было настолько *очевидно*, что я не удержался и посмотрел туда же и, разумеется, ничего, кроме белого европотолка, не увидел, но это я, а он – видел, видел! А потом

наступила тишина, которая случается иногда на концертах, на замечательных концертах, когда музыканты уже закончили свое выступление, а восторженные слушатели на какое-то время буквально онемели и окаменели и не могут ни аплодировать, ни кричать «браво», вот и я тоже буквально онемел и окаменел (я даже боялся на него смотреть!), и это состояние длилось довольно долго и начало даже затягиваться – он сидел совершенно неподвижно, возможно, дожидаясь моих аплодисментов и криков «браво», но теперь я не мог на них решиться, вспомнив, что нахожусь не в концертном зале, а в прокуратуре. Сокрушилин посмотрел на меня долгим доброжелательным взглядом и, смущенно улыбнувшись, сообщил:

– Я недавно в самолете книжонку одну полистал. Там следователь подследственному говорит напоследок: «Добрых мыслей, благих начинаний»! Хорошо, правда?

– Хорошо, – соглашаюсь я, пытаюсь вспомнить, кто мог это сказать и где¹³.

Поднимаясь, он ободряюще хлопает меня по плечу, подхватывает звякнувшую гитару и уходит...

¹³ Этими словами Порфирий Петрович напутствовал Раскольникова, отправляя его на каторгу. – *Примеч. авт.*

Второй (продолжение-2)

Я не подумал даже, что Сокрушилин больше сюда не придет. Плащ и диктофон он, правда, забрал, а «Дело»-то оставил – оно продолжало лежать на подоконнике... Нет, я был уверен, что Сокрушилин вернется, и эта мысль меня успокаивала и убаюкивала... Потом как-то незаметно и неслышно в кабинет вошел человек, я бы даже сказал – человечек, маленький, серый, невзрачный, типичный советский делопроизводитель, не хватало лишь синих нарукавников на рукавах серого пиджака. То ли не замечая, то ли не обращая на меня внимания, он подошел к окну, взял в руки «Дело» и с видимым интересом стал его перелистывать. Я затаенно за ним наблюдал. Прическа у него была, как у нашего декана. Это, знаете, когда некоторые мужчины, чтобы прикрыть свою лысину, отращивают сбоку волосы подлинней и укладывают их от уха до уха продолговатой нашлепкой. Однажды декан делал доклад, посвященный Дню советской конституции (кто не пришел, того лишили стипендии), и, говоря о преимуществе социалистической демократии, так увлекся, что не сразу заметил, как эта штука свалилась ему на плечо! Этаким волосяным эполетом. Некоторое время он еще говорил... Я декана не любил, и это мягко сказано, но в тот момент мне стало нехорошо. Поняв наконец, что произошло, он смертельно побледнел. (Вот именно – смертельно.) Тишина стоя-

ла гробовая. (Вот именно – гробовая.) Бедняга вскоре умер. Не от того случая, конечно – от рака. Хотя некоторые потом утверждали, что рак развился именно от того случая, и это, на мой взгляд, так могло и быть – человек пережил тяжелейший стресс. Но я одного не понимаю, как можно стесняться своей лысины? Как можно от этого комплексовать? Вот я, например, ни капельки не комплексую! Сие ведь не от нас зависит. Я, например, совершенно не обижаюсь, когда Алиска подкрадывается сзади неслышно (на самом деле я, конечно, слышу) и звонко шлепает меня сверху ладошкой, – нисколько не обижаюсь.

Привет, доктор Плейшнер!

Это когда у Алиски плохое настроение – с подружкой, например, поссорилась. Зато, когда хорошее – с мальчиком познакомилась, – она говорит: «Здравствуй, доктор Айболит!» Правда, при этом тоже шлепает. Ну и что? Женька выражается, на первый взгляд, жестко: «Ненавижу плешивых мужиков». Но при этом она тут же делает поправку: «Кроме тебя, Желторотов». Когда у Женьки хорошее настроение, она так меня называет: Желторотов или просто Желт. Мне это не очень нравится, но если это нравится моей жене? Супружеская жизнь – цепь компромиссов, не так ли? Когда я поделился этой глубоко прочувствованной мыслью с Герой, он мрачно спросил: «Твоих?» Но какая разница – чьих, если есть семья и ребенок? Разве я не прав? А с Дашей вообще интересно получилось! Я сидел на корточках перед Тотошкой,

а она подошла сзади и вдруг удивленно воскликнула: «Ой, лысинка!» Несмотря на мой не очень высокий рост, ее не так просто увидеть, потому что она скрывается среди растущих вверх волос, они у меня мягкие, светлые, но растут почему-то вверх – как антенки, между ними-то она и скрывается, ее увидишь, если только сверху посмотришь, вот Даша сверху и посмотрела. В первый момент я даже подумал, что Даша, как и Алиска, шлепнет меня, сжался – условный рефлекс сработал, но случилось то, чего я никак не ожидал... Даша меня поцеловала! Туда, в то самое место... От неожиданности я резко выпрямился и ударил ее головой в подбородок – БУМ! И маленький серый человек себя по лбу – «Делом» – БУМ! А это не он, это я – БУМ! Вот смех, хорошо, что никто не видел... А человечек? А человечка никакого нет и не было, он тебе приснился! И во сне – головой об стол – БУМ! Шишка, наверно, вырастет. Гера спросит: «Откуда?», скажу: «Допрашивали...» Многозначительно так, ха-ха: «Допрашивали...» А у тебя, брат, просто железные нервы! И что с того, что омовцы в масках, с автоматами брали тебя, что с того, что ты ночь в камере с уголовниками провел, что следователь собирался вены резать – с тебя все, как с гуся вода... Наполеон, кажется, вот так же выпался под Ватерлоо. (А я действительно прекрасно выпался, все-таки в КПЗ был не сон.) Но неужели этот маленький серый человечек с прической нашего покойного декана мне приснился? Ну конечно же приснился, вон и «Дело» лежит на подоконнике там, где

Сокрушилили его оставил. «ДЕЛО»! Помнится, Гера утверждал, что на каждого из нас, на каждого советского человека (это когда еще все мы были советскими), на каждого из нас заведено «Дело». Я не соглашался, спорил, хотя чувство испытывал двойственное: с одной стороны, это меня тревожило и унижало, с другой – льстило и возвышало. В качестве последнего аргумента я вспомнил Герин же анекдот про Чапаева и Петьку, который пишет *оперу*, но не про всех, потому что про всех опер не прочитает. Геру это не смутило, и он проговорил убежденно и мрачно:

– Нет, значит, будет.

– А вот и не будет, – упирался я.

А ты тогда сказал:

– Когда-нибудь ты сам его увидишь.

Я разозлился и спросил:

– Что – увижу?

– Свое «Дело»! – крикнул Гера.

(Странно, что я так хорошо помню тот давний и до-вольно-таки бессмысленный спор, в деталях и подробностях помню.)

Услышав это, я еще больше разозлился и тоже проорал:

– А на тебя есть «Дело»?

Гера скривился и махнул рукой. Насчет себя он оказался прав: спустя пару месяцев его отчислили из института «за поведение, несовместимое со званием советского студента». Приказ об отчислении декан подписал перед самой своей

смертью, кажется, это был его последний приказ. Гера потом удачно пошутил: «И в гроб сходя, благословил». А сильно мы тогда поспорили – чуть не посорились – на ровном месте, из-за ничего.

– Ну, допустим, на меня есть «Дело», ну и где оно лежит? – выкрикнул я, теряя терпение. (Почему же мы так кричали?)

Гера усмехнулся и сделал загадочную физиономию:

– Где-нибудь лежит.

Что и говорить, Гера – мастер таинственных фраз. А я знаю, почему я этот разговор вспомнил – потому что вот оно, «Дело» – ЛЕЖИТ, и это, может быть, как раз мое «Дело», то есть не мое, конечно, а Герино. – Так чего проще? – Встань, подойди и посмотри... И кончится эта пытка неизвестностью! Можно даже не брать в руки, не листать, а просто глянуть... И если там написано: «Штильмарк Герман Генрихович», тогда... – И что тогда? – Тогда... – Ну и что, что тогда? Что, Гера уполномочивал? (Или уполномочивал, как правильно, мама?) Он что, просил тебя это делать?

– А вдруг от этого зависит его судьба?

Судьба... А если там написано то, чего ты не должен знать? Помнишь знаменитый, если так можно выразиться, *тест* Достоевского: «Представьте себе, что вы случайно подслушали разговор двух бомбистов, которые договариваются, в каком месте и в какое время они бросят свою бомбу в царя. Пойдете ли вы доносить на них в полицию?» Федор Михай-

лович задавал этот вопрос многим своим современникам, и все они, все, как один, с гордостью отвечали: «Нет!» (Вот что значит девятнадцатый век!) И Достоевский тоже сказал: «Вот и я не пошел бы!»¹⁴ Кстати, о Достоевском, с которым забавная у меня история приключилась. Достоевского раньше я любил и уважал, а потом осталась только любовь – без уважения, но, видимо, эти два чувства сильно переплетены, и без уважения моя любовь не то чтобы совсем исчезла, но как-то *умалилась*, сравнялась с любовью к писателям, если так можно выразиться, рангом ниже, к Андрею Битову, например, которого я и люблю и уважаю, однако признаю, что он не Достоевский. А виной всему пресловутый «Дневник писателя», который я читал мучительно и долго. Читал и диву давался, просто глазам своим верить отказывался, думая все время: «И это тот же самый Достоевский, написавший “Бедных людей” – одно из самых любимых моих литературных произведений?». (А его «милостивый государь», ведь это там, в «Бедных людях» я впервые это обращение встретил!) А тут... Такой шовинизм, такой *обскурантизм* (надо будет найти в словаре точное значение этого слова)¹⁵ и, са-

¹⁴ Если быть точным, то никакого теста не было, а был разговор Достоевского с Сувориным, описанный в дневнике известного издателя. Они сошлись во мнении, что не стали бы сообщать о ставшем им известном готовящемся покушении на царя, но это вызвало в них не «законную» за себя гордость, а горестную печаль о существующем разрыве между российской властью и теми, кто любит Россию и служит ей верой и правдой. – *Примеч. авт.*

¹⁵ Обскурантизм – от лат. «затемняющий». Крайне враждебное отношение к

мое главное, такой махровый антисемитизм! (До сих пор не верю и не понимаю, как в одном человеке могут сочетаться столь несочетаемые качества? С одной стороны – такая к людям любовь и снисходительность, а с другой – «полячишки», «жидки»...) И все же мое примирение с Федором Михайловичем состоялось! А помогли мне в этом, выражаясь языком героев Достоевского, падшие женщины, а если современным языком выражаться – путаны и «ночные бабочки», называя же вещи своими именами – проститутки. Раньше я их, опять же, любил, всех этих «соблазненных и покинутых» героинь Федора Михайловича, которые с «горсточкой крови» в груди, иконкой в руках и с желтым билетом в кармане идут на панель единственно для того, чтобы семью от нищеты спасти, больной матери на лекарства заработать. Да и независимо уже от Достоевского я был убежден в том, что женщины торгуют своим телом либо из возвышенных соображений (тоска по настоящей любви, обида, месть), либо от бытовой безысходности; но в любом случае в основе их падения лежит, конечно же, самопожертвование. Они, конечно, и тогда были, но я их не видел, ни разу не видел. И вот, наконец, они открыто появились на улицах Москвы, и с пристальным интересом я стал вглядываться в их лица, пытаюсь найти в них черты Сонечки Мармеладовой. Искал – и не находил, решительно не находил! Девчонки, наши простые девчон-

просвещению и науке, реакционность, мракобесие (Толковый словарь русского языка Ушакова).

ки, вчерашние десятиклассницы, немного глупые, немного испорченные, немного жадные. Как-то мы с Герой застряли в пробке на Садовом, а там их, ночных этих бабочек, буквально целые тучи порхают. Улыбаются, смотрят призывно и многообещающе, распахивают свои пальтишки – всё на продажу, и я спросил тогда Геру, что он о них думает.

– Да ничего я о них не думаю, – пытался отмахнуться от меня мой друг.

– Ну все-таки! – настаивал я. – Ты можешь охарактеризовать их несколькими словами?

– Могу одним, – мрачно сказал Гера и произнес это слово – грубое, короткое, непечатное, возможно имеющее к этим девушкам отношение, но, пожалуй, только в последнюю очередь. На этом наш разговор закончился. Прошло немного времени, и неожиданно я увидел подтверждение своей правоты, как ни странно – по телевизору. А дело было так. Однажды мы сидели всем нашим благородным семейством перед телеэкраном, как говорится, коротали вечерок. Время было не позднее, где-то часов восемь, но в присутствии Алиски и в это детское время я смотрю телевизор с напряжением и опаской, потому что в любой момент такое могут показать, что со стыда сгоришь. Так оно поначалу и случилось, а потом я приспособился: если вижу, что к *этому все идет*, смотрю на часы и с озабоченным видом ухожу в кухню, как будто по каким-то там своим делам, Женька с Алиской провожают меня насмешливыми взглядами, но я делаю вид, что

не замечаю. Раньше в подобных ситуациях уходила Алиска, причем сама, никто ее этому не учил, всегда, правда, демонстративно, иногда даже громко хлопая дверью, но однажды не ушла, осталась сидеть, продолжая с интересом смотреть в экран... Я покосился на Женьку, но она отмахнулась: «Успокойся, она уже все знает». И тут же Алиска подключилась: «Папа, успокойся, я уже все знаю!» Растерянность моя длилась на удивление недолго: *находчиво* глянув на часы и придав лицу предельно озабоченный вид, я заторопился в кухню. Да нет, я прекрасно понимаю, что Алиска все знает, и ничего против знания не имею, знание всегда позитив, знание – сила, но я сейчас совершенно о другом – о том, что нельзя, просто невозможно смотреть некоторые фильмы и передачи вместе с детьми! И это не ханжество, никакое не ханжество, а элементарный здравый смысл, забота о подрастающем поколении. Так вот, показывали милицейскую облаву на этих самых ночных бабочек. – Их тоже брали? – Да, ха-ха, их тоже брали... Причем всех сразу. – И тоже снимали, между прочим. А потом, уже поодиночке, интервьюировали. Понимая, что девушки начнут сейчас, как Гера говорит, *выдавать и заворачивать*, я сделал озабоченное лицо и хотел уже подняться и уйти, как вдруг зазвонил телефон, и Алиска со всех ног рванула в кухню – она ждала какого-то «важного» звонка. Ио90 таким образом, я остался, и очень рад, что остался. Женька смотрела в экран с плохо скрываемым презрением и, бросив в адрес несчастных путан одно непе-

чатное слово (Женька вообще за словом в карман не лезет, но, что интересно, это было то же самое слово, которое сказал Гера), поднялась и направилась к Алиске, – с некоторых пор все «важные» звонки представляют для дочери и матери обоюдный интерес, что опять же понятно и объяснимо. А я, таким образом, остался, и очень рад, что остался... Так вот... «Ради чего вы *этим* занимаетесь?» – спрашивает корреспондент одну из «героинь» репортажа, и та с ходу, без запинки, бодро и с некоторым даже вызовом бросает нам, зрителям в лицо: «РАДИ БОЛЬНОЙ МАТЕРИ!»

Я так и подскочил на своем табурете! Достоевский был прав! Сонечка Мармеладова жива! Нет, конечно же врала, без зазрения совести врала и скрывать не собиралась, что врет, и никто ей, разумеется, не поверил (а я тем более не поверил!), но дело совсем не в этом... Да и на Сонечку Мармеладову она нисколько не походила: крепкая, скуластая, кровь с молоком, училась, видно, плохо, и улицей испорчена, но и не в этом, не в этом дело! «Ради больной матери», – говорила Соня Мармеладова, «падшая женщина» девятнадцатого века, и – наша современница – «ночная бабочка», «путана» конца двадцатого говорит те же самые слова! Не важно, с какой интонацией, не важно, что врет, важно, что слова те же самые! Это для меня и есть неоспоримое доказательство того, что Достоевский был и остается прав, и Сонечка Мармеладова жива! А ее наглая ложь – это только симптом, тревожный сигнал, напоминающий о том, насколько она

изменилась, и, к сожалению, не в лучшую сторону. Согласен, изменилась, но ведь и не исчезла вовсе! А ведь могла бы... Лично же я очень благодарен создателям телепередачи за то, что они, сами того не подозревая, примирили меня с нашим великим классиком. Могут, наверное, сказать, что девочка в школе успела «Преступление и наказание» прочитать... Но что же в этом плохого, господа хорошие? К этому могут также присовокупить расплодившиеся ныне модные суждения о том, что во *всех-де* наших бедах великая русская литература виновата. (Вот уж действительно – с большой головы на здоровую.) Всех, всех *перевинувалили*: царей, начиная с Рюрика и кончая Николаем II (включая Петра I), крепостное право и его отмену, крестьянство и аристократию, декабристов (!) – вроде некого больше уже, и вдруг нате вам – русская литература виновата. Мол, русские писатели слишком серьезно к своему делу относились, чересчур хорошо писали, а русские читатели очень внимательно их читали, принимая написанное слишком близко к сердцу. Даже термин такой появился – *литературоцентризм*. (Интересно, кто его придумал? Уж не тот ли самый Веничка Малофеев, автор печально знаменитой на эту тему статьи?) Так они могут договориться до того, что Достоевский своими произведениями девушек на панель подталкивает. Да он возвращал их оттуда, понимаете вы, возвращал и возвращает! Литературоцентризм... Убейте меня, что же плохого в том, что, прочитав «Повесть о настоящем человеке», мальчишка на-

чинает мечтать о небе? И никто литературу с жизнью не путает, потому что литература и есть жизнь! Или не было в реальности Маресьева? Был! То же и с Сонечкой Мармеладовой. Она была, это несомненно, то есть я хочу сказать, я уверен – у нее был реальный прототип. Какая же в таком случае это выдумка? И та вчерашняя десятиклассница прочитала «Преступление и наказание», правильно, всего несколькими словами выразив одно из главных его составляющих: «Ради больной матери». И, по правде сказать, за будущее этой «путаны» я не сильно беспокоюсь: запуталась – выпутается, упала – поднимется, а знаете, почему я так в этом уверен? «*Родная мать*» выпутает и поднимет! И вот, когда я это понял – в тот самый момент, перед телевизором (я даже подпрыгнул на своем табурете!), в тот самый момент я с Федором Михайловичем и примирился! Очень необычные отношения с Достоевским у Геры сложились: Гера его знает и ненавидит. Знает досконально и ненавидит люто, говорит даже, что лучше бы его казнили. «Для кого лучше?» – спрашиваю я. «Для всех. Своим творчеством он увеличил в стране процент параноиков, психопатов и маньяков», – отвечает Гера. «Ну хорошо, про психопатов я понимаю, но при чем тут маньяки?» – спрашиваю я.

«Он изнасиловал девочку!» – орет Гера¹⁶.

¹⁶ Как известно, подобные подозрения и даже обвинения преследовали писателя при жизни, о чем Гера мог не знать. Ему было достаточно текста. – *Примеч. авт.*

Я:???

Гера: Перечитай в «Бесах» главу «У Тихона».

Я: Мне не надо перечитывать, я и так знаю, что Достоевский – гениальный писатель.

Гера: Никакой гений не может такое написать, если он это сам не пережил!

Я: Этого не может быть уже хотя бы потому, что он верил в Бога – искренне и бескорыстно. Достоевский – самый верующий из всех больших русских писателей.

Гера: Искренне, но совсем не бескорыстно! Из чувства вины верил, прощения просил, ада боялся твой Достоевский!

Я: Он не мой, он – наш.

Гера: Ада боялся ваш Достоевский! И если бы ад был, он бы сейчас в нем горел!

Гера читать не любит, но Достоевского очень хорошо знает, потому что перечитывает постоянно. Знает и ненавидит – я даже представить не могу, как такое может быть! Вот я, к примеру, Венедикта Малофеева ненавижу – из-за мамы и русской литературы, но, за исключением той злополучной статьи в «Литературной литературе» его не читал, а не читал я его потому, что, как мне кажется (такое вполне может случиться и скорее всего случится), прочту, узнаю и перестану ненавидеть или, того хуже – полюблю. Надо честно признать – я не читаю Веничку Малофеева, или, как остроумно назвал его в одной своей статье Юлий Кульман, Веничку Ненастоящего, не потому, что не люблю, а потому, что бо-

уюсь полюбить. Кого читаю, того люблю, и, чем больше читаю, тем больше люблю... У меня и с Женькой так же: чем больше с ней живу, тем больше ее люблю. Это элементарная диалектика, правило жизни, которое, конечно, не бывает без исключений; таковым исключением и является мой друг Гера и его отношение к Достоевскому – знает и ненавидит. Хорошо, что лично для меня на Достоевском свет клином не сошелся, лично для меня свет клином сошелся на Толстом, но Гера к нему равнодушен. Однако тот тест подарил мне не Толстой, а именно Достоевский, и за это ему, как говорится, отдельное спасибо. Если бы не он – стоял бы я сейчас у окна и листал чужое «Дело» *украдкой*... Кстати, мама эту проблему гораздо короче и проще сформулировала: «Читать чужие письма подло». Мама. Она буквально вбивала в меня прописные истины, и за это я буду благодарен ей до конца своих дней. А то, что это вот «Дело» – не чужое письмо, дела, извиняюсь за каламбурчик, не меняет! На деле это больше чем письмо! Серьезней. Страшней. Опасней. «Дело» есть «Дело»... Почитай-ка ты лучше газетку! Потому что все, что не разрешено – запрещено, то есть, ха-ха, все, что не запрещено – разрешено. В самом деле, почитаю-ка я лучше газетку!

В № 96 от 6.4.97 г. СтоМ сообщил о зверском преступлении, совершенном накануне в одном из спальных районов Москвы, когда в лифте своего дома была изнасилована две-

надцатилетняя девочка.

Зачем я это читаю?

Маньяк подкараулил несчастную жертву в час, когда школьница возвращалась с занятий. Несмотря на все ее мольбы и уговоры, насильник совершил половой акт с ребенком в особо развратной форме.

Нет, зачем я это читаю?

Но этого ему показалось мало: на прощание изувер отрезал бедняжке ухо.

Нет...

На поиски преступника были брошены все силы правоохранительных органов. Но результат пришел только вчера. Маньяк пойман! Им оказался безработный Козлов (фамилия в интересах следствия изменена). Он уже сознался в совершении этого злодеяния, и сейчас проверяется его причастность к другим подобным преступлениям. Любопытно отметить, что насильник оказался обладателем новенького шестисотого «Мерседеса», на котором он раскатывал по городу в поисках своей очередной жертвы.

Нет, расстреливать, только расстреливать! Я решительный противник смертной казни, и отнюдь не только потому, что, если мы ее наконец не отменим, нас не пустят в цивилизованную Европу, а просто это действительно дикость – в наше время, в самом конце двадцатого века применять смертную казнь, но всех этих гадов, этих сволочей я бы не то что расстреливал, я бы их собственными руками душил! Раньше я всего этого не замечал, подобная информация проходила мимо моих ушей, но когда подросла Алиска... И откуда только эти сволочи берутся? Причем раньше такого не было, нет, то есть было, конечно, просто о них не писали в газетах, но все-таки, кажется, не в таком количестве, как сейчас, все-таки не в таком... Ой, как громко он звонит!

– Алло?

– Алло, это прачечная?!

Что он так кричит?

– Нет...

И почему смеется? Разве я сказал что-нибудь смешное? Ведь это действительно не прачечная.

– А что?

– Это прокуратура.

Опять смеется...

– Прокуратура, говоришь? А ты кто?

– Я? Золоторотов.

– А Костя где?

– Костя?

– Постой, ты там кем работаешь? Новичок, что ли? Стажер?

– Нет...

– А что ты там делаешь?

– Ничего... Сижу.

– Посадили, что ль? – смеется.

– Нет, просто сижу.

Голос неизвестного мне человека тускнеет, как бывает, когда к собеседнику теряется интерес. А мне, наоборот, интересно – что значит «прачечная»? Он произнес это слово как пароль, а я не знаю отзыва.

– Это Копёнкин.

Копёнкин? Я напрягаюсь, вспоминая, всего одно мгновение – и вспоминаю: Копёнкин! Не Опенкин, а Копёнкин¹⁷, именно на него опирался Сокрушилин в их словесном поединке с Заха-ха-ха...

– А ты чего смеешься?

– Извините, я просто вашу фамилию сегодня слышал.

– Меня все слышали. Так ты не знаешь, куда делся Михайч?

– Его вызвали.

– Куда?

¹⁷ Золоторотову ничего не сказала фамилия Копёнкин, значит, он не читал «Чевенгур» Андрея Платонова, где главный герой носит такую же фамилию? Выходит так. Хотя странно... Впрочем, почему странно? Он даже не знает знаменитый анекдот про прачечную и министерство культуры. Такой человек... – *Примеч. авт.*

– В ад.

Смеется. С чувством юмора Копёнкин.

– Там ему и место! Ну ладно, вернется, скажи, что я его искал, хорошо?

– Хорошо.

– И спроси его, как надо отвечать, когда прачечную спрашивают. Хорошо?

– Хорошо.

Далась ему эта прачечная! Но интересный человек этот Копёнкин, сразу видно – интересный и с чувством юмора, что в наше время редкость. А Сокрушилин, значит, у нас Костя? Константин... Константин Михайлович... Спасибо старине Холмсу – старый добрый метод дедукции по-прежнему выручает. (Кстати, когда-то я мечтал о карьере следователя. Кажется, это было после того, как я расстался с мечтой стать пожарником, но еще не думал о теплом местечке продавца мороженого.) Константин Михайлович Сокрушилин – это звучит гордо! Его зовут, как Циолковского... Впрочем, Циолковского звали – Константин Эдуардович. А Константином Михайловичем звали Станиславского. Кажется... Вот именно – кажется!

Так, что там еще у нас? «От 5 до 10» – это мы уже проходили, а еще что?

На нары в домашних тапочках

В домашних? Забавно!

Прямо в домашних тапочках был отправлен в изолятор временного содержания лидер воронежской преступной группировки Эдуард Мотовцов по кличке Мотя, уже давно осевший в первопрестольной. На счету “воронежцев” – рэкет, разбой, вымогательство. Бандиты отличались от своих коллег по “бизнесу” известной интеллигентностью. Так, прежде чем вставить своей очередной жертве в задний проход паяльник, подопечные Моти заботливо смазывали его вазелином. Следствие опасается, что предъявить обвинения Мотовцову будет совсем непросто, так как сам он непосредственного участия в экзекуциях не принимал.

«Известная интеллигентность» – это неплохо, это стоит запомнить... Но – «От 5 до 10» – что же это все-таки такое? Ведь Сокрушилин не только проткнул эту заметку пальцем, он еще и подмигнул – отгадай, мол. Хорошо, не взятка, но тогда что? Герино преступление относится к тем самым библейским заповедям? А что, это мысль! Что там... «Не убей, не укради, не прелюбодействуй» – так, кажется? Ну разумеется, Гера никого не убил! Это невозможно! Мой друг – убийца? Нет! Но если бы вдруг... тогда... разве бы со мной так обращались? Кормили бы бигмаками? Катали бы на «Hummer'e»? Пели бы романсы? Тоже нет. Извини, старик, что я мог такое про тебя предположить. Даже гипотетически. Просто я провожу свое расследование, и это – версии. Дальше! «Не укради

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.